ЗАПИСКИ
ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

VI

Издательство Академии Наук СССР
Москва • 1937 • Ленинград

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

I. ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Том I. 1932. 321 стр. Ц. 8 р.
» II. Вып. 1. 1932. 36 стр. Ц. 2 р.
» II. Вып. 2. 1933. 70 стр. Ц. 3 р.
» II. Вып. 3. 1933. 54 стр. Ц. 2 р. 25 к.
Том II. Вып. 4. 1934. 68 стр. Ц. 2 р.
» III. 1935. 214 стр. Ц. 2 р.
» IV. 1935. 81 стр. Ц. 3 р. 50 к.
» V. 1936. 231 стр. Ц. 10 р.
» VI. 1937. 175 стр. Ц. 9 р.

II. ТРУДЫ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

I. Проблемы литературы Востока. 1932. 126 стр. Ц. 3 р.
II. Беляев, В. И. Арабские рукописи бухарской коллекции Азиатского музея. 1932. XVII + 52 стр. Ц. 2 р.
III. Крачковский, И. Ю. Абӯ-л-ʿАлā ал-Маʿаррӣ. 1932. VIII + 86 стр. Ц. 2 р. 50 к.
IV. Зарубин, И. И. Белуджские сказки. 1932. VIII + 220 стр. Ц. 6 р.
V. Поппе, Н. Н. Бурят-монгольское языкознание. 1933. 119 стр. Ц. 5 р.
VI. Новичев, А. Д. Экономика Турции в период мировой войны. 1935. 143 стр. Ц. 3 р.
VII. Материалы по истории каракалпаков. 1935. 299 стр. Ц. 12 р. (в перепл. 14 р.).
VIII. Востриков, А. И. и Поппе, Н. Н. Летопись баргузинских бурят. 1935. 75 стр. Ц. 3 р. 50 к.
IX. Поппе, Н. Н. Летописи хоринских бурят. Вып. 1. 1935. X + 172 стр. Ц. 15 р.
IX. Казакевич, В. А. Летописи хоринских бурят. Вып. 2. 1935. X + 126 стр. Ц. 12 р.
X. Бертельс, Е. Э. Персидская поэзия в Бухаре. 1935. 57 стр. Ц. 2 р.
XI. Невский, Н. А. Материалы по говорам языка Цоу. 1935. 136 стр. Ц. 6 р.
XII. Поппе, Н. Н. Летописи селенгинских бурят. 1936. IV + 55 стр. Ц. 5 р. 50 к.
XIII. Петров, А. А. Ван-Би (226—249). Из истории китайской философии. 1936. 136 + 2 стр. + XVIII т. Ц. 8 р.
XIV. Поппе, Н. Н. Монгольско-тюркский словарь Мукаддимат ал-Адаб. (Печатается).
XV. Потапов, Л. П. Очерки по истории Шории. 1936. 260 стр. + 1 карта. Ц. 9 р.
XVI. Жамцарано, Ц. Ж. Монгольские летописи XVII века. 1936. 121 стр. Ц. 7 р. 50 к.
XVII. Доклады группы востоковедов на сессии Академии Наук СССР 20 марта 1935 г. 198 стр. + 6 табл. Ц. 10 р.

ЗАПИСКИ
ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

VI

Издательство Академии Наук СССР
Москва · 1937 · Ленинград

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Январь 1937 г.

Непременный секретарь академик *Н. Горбунов*

Ответственный редактор академик А. Н. Самойлович

Технический редактор К. А. Гранстрем. — Ученый корректор Е. М. Мастыко

Сдано в набор 21 апреля 1936 г. — Подписано к печати 3 января 1937 г.

175 стр.

Формат бум. 72 × 110 см. — 11 печ. л. — 12,31 уч.-авт. л. — 43635 тип. зн. в л. — Тираж 1200

Ленгорлит № 23161. — АНИ № 1148. — Заказ № 908

Типография Академии Наук СССР. Ленинград, В. О., 9 линия, 12

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАТЬИ

II. МАТЕРИАЛЫ И ОБЗОРЫ

III. ХРОНИКА

SOMMAIRE

Pages

I. RECHERCHES

II. CRITIQUES LITTÉRAIRES

III. CHRONIQUE

В. В. БАРТОЛЬД

О колесном и верховом движении в Средней Азии

(Конспект последнего доклада, сделанного 10 мая 1930 г. в ГАИМК)

Внешним поводом для рассмотрения темы, составляющей предмет доклада, были слова книги А. Меца: Die Renaissance des Islâms, стр. 461. «Der Strassenwirtschaft des Orients konnte die Herrschaft der Araber keinen Aufschwung geben. Sie sind ein Reitervolk ohne Sinn für Heerstrassen und Fuhrverkehr. Der Wagen war man so ungewohnt, dass bei der Herübernahme des Schachspiels aus Indien die Figur des «Wagens» (ratha) nicht verstanden und zum Ruch wurde. Auf Wagen fuhr erst im Norden die tatarische Welt».

Тут же приводится пример заботы Чингиз-хана о мостах и колесных путях. До недавнего времени у кочевников колесных повозок не было; передвижение и перевозка грузов совершалась только на животных. Вопрос о том, когда и как произошла эта перемена, еще недостаточно выяснен.

О передвигавшихся и даже живших на повозках кочевниках в юго-восточной Европе говорится, как известно, в греческой литературе, — ср., напр., выражение у Страбона, 412. Китайцы говорят о повозках в Средней Азии, даже у оседлых народов, как об исключении; так, в Тан-шу говорится о Хорезме: «Из всех владений Ху только здесь есть волы с телегами. Торговцы употребляют их в своих путешествиях по разным странам» (Иакинф, III, 246, Chavannes, Documents etc, 145). В том же сочинении (Тан-шу) говорится об одном кочевом народе, получившем прозвание «высокие телеги»; у этих «тилисцев» были одноколки на высоких колесах с множеством спиц; во время свадеб жениховы родственники отборивали лошадей телегами и предоставляли каждому родственнику невесты выбирать любую лошадь (Иакинф, I, 248 и сл.).

Арабское название повозки было عجلة, персидское گردون, турецкое первоначально qaŋlï, слово араба или арба встречается впервые в Codex

Comanicus и у Ибн-Баттуты. Арабское عجلة толкуется в словаре Фрейтага как повозка, запряженная быками; о канглы говорится у Махмуда Кашгарского, что это — телега для перевозки грузов; по Рашид-ад-дину она употреблялась для складывания добычи; у Абулгази слово канглы объясняется, как звукоподражание скрипу телеги. Русское «кибитка» происходит от турецкого «кибит», что значит «лавка» [так, у Махмуда Кашгарского (I, 298), в Кутадгу Билиг и у Замахшари, очевидно, лавки иногда помещались на повозках].

В Средней Азии теперь известны два главные вида арбы, с одной стороны, хорезмийская или кашгарская, с другой — кокандская (Прот. Турк. кружка любит. арх., год XIII); судя по находкам так называемого амударьинского клада, первый тип более древний. В первом случае человек сидит в арбе и правит возжами, во втором — сидит на загривке лошади, поставив ноги на концы оглоблей, и правит короткой верховой уздечкой. Езду на арбе в монгольский период подробнее всего описывает Ибн-Баттута. При описании пути из Керчи в Крым упоминаются четырехколесные телеги, запряженные лошадьми, быками и верблюдами; возница сидел на одной из лошадей. Путь из Сарая в Хорезм был совершен в повозках, запряженных верблюдами; большая повозка для спутников Ибн-Баттуты была запряжена тремя верблюдами, причем возница сидел на одном из них.

Арбы часто упоминаются в Юань-чао-би-ши, у Рашид-ад-дина, у Чан-Чуня, у Плано Карпини, у Рубрука и Марко Поло, но нигде не говорится, как у Ибн-Баттута, о четырехколесных арбах; нигде не говорится также, чтобы возница сидел на запряженном в арбу животном. Приводятся слова Чингиз-хана Ван-хану кераитскому: «Мы с тобой, что две оглобли у кибитки; когда поломается одна, быку не свезти кибитки; мы с тобой, что два колеса у кибитки; сломайся одно, ей не двинуться (Юань-чао-би-ши, перев. Палладия, стр. 91; ср. Рашид-ад-дин, текст в Труд. Вост. отд. Арх. общ., XIII, 224). Из этого можно заключить, что арбы были двухколесные. Везде говорится, что арбы были крыты черным войлоком; иногда противополагаются друг другу черные повозки и белые юрты. Повозок в больших ставках было очень много; в ставке брата Чингиз-хана, Отчигиня, черные телеги и войлочные юрты стояли рядом в числе нескольких тысяч. Из 26 жен Батыя у каждой было по большому дому, к каждому из этих домов примыкало по 200 повозок. Во время стоянок в повозках хранились запасы. Упоминается о повозке с овечьей шерстью позади жилья; при разграблении неприятельского стана в кузовах искали кобылье молоко.

В повозках передвигались женщины и дети с домашним скарбом. Только жилые (бедные) юрты перевозились на вьючных животных. Большие юрты ставились на повозки и не разбирались; иногда для перевозки служил один бык, иногда три, четыре и больше. У Рубрука упоминается повозка, которую тащили 22 быка, 11 в один ряд вдоль ширины повозки и еще 11 перед ними. Ось повозки была с мачту корабля; человек, стоя на повозке при входе в дом, погонял быков. Упоминается еще подробность (Рубрук, перевод Малеина, стр. 67), что, когда дом был на повозке, он выдавался за колеса по крайней мере на пять футов с того и другого бока. В известном исследовании Н. Н. Харузина о развитии жилища у турецких и монгольских кочевников при описании (по Ананьеву) караногайской свадебной арбы говорится, что диаметр поставленного на арбу остова в $1^1/_2$ раза больше ширины арбы с колесами (Этнографич. обзор 1896 г., № 1, стр. 40). В арбу впрягались чаще всего быки, иногда верблюды; управлявшая арбой женщина сидела внутри ее. Только при захвате арбы с женщинами захватчик увозил ее, сидя верхом на лошади, по монгольскому обычаю (примеч. Палладия к Юань-чао-би-ши, стр. 33). Иногда женщин вытаскивали из повозки и сажали на коней; повозки были с дверцами. По мнению Харузина, кибитки на колесах есть «отпрыск, вызванный условиями жизни — большими передвижениями в безлесных местностях». Факты (напр., ногайские арбы) показывают, что этот тип жилища дольше всего держался в приволжских и северо-кавказских степях. В истории Тимура только при описании возвращения из золотоордынского похода 1391 г. (Zafar nāmah, Кальк. изд., I, 554 и сл.) говорится о таком жилище, называвшемся كرتمه. Тимуром были увезены телеги с поставленными на них юртами, что дает повод историку говорить в своих стихах об отличии подвигов Тимура от всех других; в других случаях во время набега на страну увозится имущество, дома остаются; Тимуром были увезены и имущество, и дома, и сидевшие в домах (женщины).

Клавихо (стр. 220) при описании Чагатайских перекочевок в Передней Азии о повозках не упоминает. Женщины ездили верхом и ставили перед собой колыбельки, перевязанные широкими тесьмами, которые они надевали на себя. Бедные везли детей и палатки на верблюдах, «что очень неудобно, так как верблюды идут очень неловко».

Главной причиной исчезновения повозок, повидимому, должен быть признан экономический упадок среди кочевников после XV в.

С. И. КЛИМЧИЦКИЙ

Название Согдианы в топонимике Таджикистана

В топонимике современного Таджикистана и Узбекистана можно различить ряд наслоений в соответствии с историческими судьбами населявших эти территории народов. Одними из древнейших прослеживаемых географических названий местностей, городов и селений являются согдийские. Несомненно и то, что в топонимике юго-восточной части нынешнего Таджикистана лежит не менее древний иранский слой названий, восходящий к языкам иранских насельников Средней Азии (сако-хотанскому и др.), имеющим тесную связь с современными припамирскими языками Таджикистана. Ряд названий уходит в еще более глубокую древность доиранских насельников Средней Азии, следы которых на северо-востоке исчезают еще ранее, чем на юго-западе. Волны новых завоевателей — турок, оставляя свои родовые наименования в заселяемых ими местностях, образуют новый турецко-узбекский слой в топонимике Средней Азии, имеющий различную степень древности. Распространение с начала VIII в. на территории Согдианы персидского языка, ставшего государственным языком и заменившего согдийский язык ее насельников, приводит к возникновению многочисленных таджикских названий на территории бывшей Согдианы. Влияние арабского языка сказывалось в топонимике не непосредственно, а через государственный персидский язык.

Наряду с этими новыми элементами в топонимике Средней Азии сохранялся в ряде названий и старый согдийский слой, отдельные элементы которого (как, например, كث—) могли усваиваться новым этническим слоем и сочетаться с элементами его языка.

Если в эпоху тимуридов, как это видно из вакуфных документов этого периода,[1] подавляющее большинство названий территории северного

[1] В. Вяткин. Материалы к исторической географии Самаркандского вилаета, Справочная книжка Самаркандской обл. за 1901 г., стр. 15.

Таджикистана являются таджикскими, то со времени завоеваний Шайбани-хана число узбекских названий значительно возрастает.

Удельный вес того или иного топонимического пласта в сложном рельефе топонимики современного Таджикистана вариирует в зависимости от местности и степени давности ее населенности тою или другою народностью.

Старые согдийские названия, из которых некоторые засвидетельствованы в согдийском языке, как например, *sm'rknδh* (A. Br. IIa 2)[1] — Самарканд, *pnčyknδč*[2] Панджекент и возможно *kwštwtk*[3] Кшут, сохранились до настоящего времени. Согдийское *knδh* [*kanϑa*] (v. j. 832) — город мы находим как второй элемент сложения в ряде названий на территории Таджикистана: Мадрушкент, Вишканд и др.; селения Канси (в Ягнобе) и Канти в Захматабадском районе с закономерным соответствием *s* (< *ϑ*) в восточно-ягнобском говоре *t* в западно-ягнобском.

Так как согдийский язык, исчезнув на всей территории Средней Азии, сохранился в одном из своих диалектов в ягнобском языке по долине р. Ягноб, то топонимика этой части Таджикистана может быть названа ново-согдийской. Конечно, она не обязательно должна сохранять согдийские названия этой территории VII и VIII вв.; в ней много новых более поздних ягнобских названий, но в ней же, и в частности и в более поздних ягнобских названиях, сохраняются воспоминания о более старых этнических и географических названиях. В этом отношении семантика названий селений и местностей долины р. Ягноб, прослеживаемая на основе ягнобского языка и на пространстве, выходящем за территорию ягнобо-язычного населения,[4] представляет значительный интерес для определения согдийского слоя в топонимике всего северного Таджикистана.

Ягнобское *marγ* «луг», согд, *mrγh* (V. J. 316), без достаточного к этому основания переводимое как «лес» вместо «луг» является весьма распространенной основой в названии местностей, например ягнобское селение *marγtomáin* (букв. «селение лугов»). Оно же встречается в названиях отдельных местностей и летовок по долине р. Ягноб, например, *kátta marγák* (букв. «большой луг»), *sulángimarγ*, *kéšimarγ*, *kudmárγ* (летовка с. Кирьонти), *pásmarγ* и др. На территории таджикско-язычного Таджи-

[1] H. Reichelt. Die Soghdischen Handschriftenreste, II, Heidelberg, 1931.

[2] А. А. Фрейман. Опись рукописных документов. Согдийский сборник, Л., 1934, стр. 44.

[3] Ibid., стр. 49.

[4] Ср. М. С. Андреев, По Таджикистану, Ташкент, 1927, стр. 11.

кистана эту же основу мы встречаем в названиях с. *maryéβ* (долина р. Ягноб), с. *kumáry* (долина р. Фан).

Ягнобское *yar* «гора», согд. *yr* (V. J. 316) отмечено в названии ягнобского селения *yarmēn* (букв. «горное селение»), в названии ягнобских летовок, например, *yári tak*, *χōni yar* и др. Эта же основа в названии ягнобского селения *yarōв*, расположенного на юг от Гиссарского хребта.

Ягнобское слово *kat* — «дом», согд. *kt'k* (V. J. 52), является составной частью названия ряда селений Захматабадского и Матчинского районов, например *surxkat* (Матч. район), *xušikat* (Захмат. район) и др. В ряде случаев эта основа повидимому заменяет основу *kanϑa*, например, Панджекент в ягнобском уже не *pančikant*, как мы бы ожидали, а *panžikat*.

Ягнобское *zōį* «пахотная земля», согдийское *z'yh* (Padm. 5) «земля, страна», составляет вторую часть сложения в названиях ягнобских селений *dúmzō* («земля длинная, как хвост»), *váyinzō*, *yárzō* (часть с. Таг и чинор) и в названиях летовок и гор.

Представляет интерес название уже разрушенного ягнобского селения *alo'máin* (букв. «селение огня» (?)). Как было отмечено выше, ряд таджикоязычных селений долины р. Ягноб и р. Заравшана в названиях частей селения, летовок, арыков и гор сохраняют следы ягнобской речи. Например, в таджикоязычном селении Кирьонти одна из частей селения носит ягнобское название *čintərmēn* (букв. «внутреннее селение»), ср. согд. *čntr* (A. Br. II 6). Одна из летовок с. Новобад носит ягнобское название *kimír rūt* (букв. «красная река»), ср. согд. *krm'yr* (S. C. E. 87) «красный». Ягнобское *šōų* «черный», согд. *š'w* встречается в названии ягнобского селения *šōwitá*, реки *šōųχūn* и многочисленных названиях летовок и гор.

Часть ягнобских названий селений начинает заменяться таджикскими — процесс, имевший в более давний период место для значительно большей территории распространения ягнобского языка или близких ему диалектов.

Ягнобское селение *tag i čanōr* (букв. «под чинаром») кроме этого таджикского наименования имеет и ягнобское — *rōųt* «река». Селения *qūl*, *qūl i miyōna* и *dahana* по р. Куль уже более известны под этими названиями, чем под употребительными еще ягнобскими: *šimēn* (*qūl*), *núnmēn* (< *nutmēn*) и *rūpēf* (*dahana*) Верхняя часть ягнобского селения называется обычно *šimḗn*, а средняя *b^i dōmēn*, *b^i dōni mēn*. Эти же названия имеют части таджико-язычных селений Кирьонти и Канси. В современных названиях местностей долины р. Ягноб бытует ряд слов, уже замененных в ягнобском языке таджикскими. Таковы, например, ягн. *s^i pḗta* «белый» в названии горы *s^i pētayar* (ср. согд. *'sp'yt'k* «белый»), ягн. *kapūta* «синий» в названии

горы *kapūtaγar*, ягн. *zērta*, согд. *zyrt'k* (S. C. E. 173) в названии летовки *zērtaχōn* и сложного слова *zērtaruγ'n* «коровье масло». В современном ягнобском языке эти слова заменены таджикскими *safēd*, *kabūd*, *zard*.

Наибольший интерес из всей топонимики долины р. Ягноб представляет название *suγdú*, которым называется местность по *sōγi ēχnōų* выше селения *dahaná*. Старики рассказывают о существовании в этом месте селения; за *ēχnōų*, в местности, называемой *kahdōnák*, имеются заброшенные земли и арык. В с. Номиткон вместо *suγdú* я слышал название *suγdí*. Название страны Согдианы имеет большую давность.[1] Это *suguda* древне-персидских клинописных надписей периода ахеменидов (Bh. 1. 1.6; Pers. e, N. R. 3 и др.), j Aw. *suγδa* (yt. 10. 14), gr. Σουγδιανή, *swγδ* — согдийских писем (A. Br. II, 7, V. 14, II. 9), изданных Рейхельтом и *sγwδ* — согдийских документов из раскопок на горе Муг (см. 24. А2, стр. 8 в описи рукописных документов, Согд. сборн., стр. 40).

Как известно, название согдийского народа встречается в форме *suγdak* и для одной из местностей *suγdak tapa* в орхонских надписях[2] и в той же форме у Махмуда Кашгарского в его словаре.

Сами согдийцы называли себя swγδyk «согдиец», как это видно из опубликованных Рейхельтом писем, в одном из которых (A. Br. II, 7) сообщается о согдийце, пришедшем в согдийскую колонию восточного Туркестана из *čntr* «внутренней территории», как повидимому согдийские колонисты называли Согдиану. Название же Согдианы засвидетельствовано у китайского паломника Сюань-цзань, совершившего в VII в. н. э. путешествие в эту страну в форме *su-li*,[3] отражающей *l* диалект и в форме *sōδ-y* Моисея Хоренского.[4] Арабские географы Ал-Бируни, Истахри и Ал-Мукаддаси сохраняют это же название سغد и صغد, относя его, однако, к различным территориям: у одних все пространство на восток от Бухары до Самарканда, у других с прибавлением Бухары, Кеша и Несефа. Потеряв в дальнейший период исторического развития Туркестана свое значение как название согдийского княжества, это название еще долгое время сохранялось в названиях *nīmsuγd* и *suγdi kalōn*, первое, обозначая верхнюю часть острова, образованного рукавами Зарафшана — Кара-дарьей и Ак-дарьей, впоследствии со времени Шейбанидов — афаринкентский туман, а второе территорию, к северу от Кабудского тумана, ограниченную с запада Ак-дарьей,

[1] См. W. Tomaschek, Centralasiatische Studien, I, Wien, 1877, и статью В. Бартольд в «Encyclopédie de l'Islam», стр. 493, слово *Soghd*.

[2] W. Radloff. Die Alttürkischen Inschriften, 1895, стр. 19 и 23.

[3] Stan. Julien. Mémoires sur les contrées occidentales (trad.), I, 13.

[4] К. Патканов. Армянская география VIII в. по Р. Х., СПб., 1877, стр. 79 и 24.

а с востока и севера горами. Эти названия встречаются еще во второй половине XVII в., как это видно из приведенного В. Вяткиным[1] вакуфного документа. Соболев в статье «Географические и статистические сведения о Зарафшанском округе»[2] упоминает о названии сугутского тумана.

Название Согдианы встречается не только как название местности, но и как название отдельных селений, например, название селения *suγdān* (Yaqut, III 94), расположенное вблизи Бухары[3] или современное *suγut*, по Соболеву в 50 верстах от Панджекента и 70 верстах от Самарканда,[4] и в названии *sūlī kurγān* < *suγδīγ kurγān*.[5]

Весьма вероятно, что в этих отдельных названиях селений отражалось не географическое название Согдианы, а этническое название населявших ее согдийцев.

Отмеченное экспедицией Тадж. базы Академии Наук СССР в 1934 г. в Ягнобе название *suγdú*[6] на территории Ягноба, позволяет говорить о сохранении в этом названии древнего названия Согдианы и ее насельников.

Древнее название Согдианы, обозначавшее в VI в. до н. э. ахеменидскую провинцию, в VII—VIII в. н. э. одно из сильнейших согдийских княжеств, позднее — название отдельных туманов Самаркандского вилайета, сохранилось на территории Таджикистана только в названии заброшенного селения *suγdú* на территории живых носителей одного из согдийских диалектов — ягнобцев.

Примечание. Е. М. Пещеровой, производившей в 1927 г. в долине р. Ягноб записи ягнобских сказок, был мне любезно сообщен уже после набора настоящей статьи нижеприводимый отрывок из сказки, записанной в с. kŭli bōlō, о перепелке и лисе, где упоминается местность soγdu: kutt če dúm-š tirōšt kē núki-š kunṓšt vā̆rōr soγdú sḗnōr ē̆xinōu̯ núki-š kunṓšt vārōr... nṓsōšt kē tᵘxṓyōšt. [собаки ее | лису | преследуют, приводят в Согду, поднимаются на Ехиноу, преследуют ее... схватывают и убивают].

---

1 Op. cit., стр. 5.
2 Зап. ИРГО 1874, т. 4, стр. 300.
3 Barthold. Turkestan down to the Mongol Invasion, London, 1928, стр. 131.
4 См. Junker, Jaghnōbī — Studien, стр. 44.
5 Junker, op. cit., стр. 58.
6 *Suγdu* < *suγud* по аналогии ягн. *romdi* < тадж. *rōmid* «Рамит».

С. И. КЛИМЧИЦКИЙ

Ягнобско-согдийские соответствия

I

Выражение понятия «что-либо мочь» в пассивном значении в ягнобском языке при помощи глагола *βū́-* : *βūt-* 'делаться, становиться' совпадает с аналогичным выражением этого понятия в согдийском, как это было отмечено К. Залеманом.[1]

Примерами из ягнобского могут быть следующие фразы:[2]

1. *iš asl na wōft βū̃čẹ* — «Это вовсе не может быть сказано».
2. *na nōt βū́tišt* — «Не может быть взято».
3. *iš umṓč asl na xᵘōrt βū̃čẹ* — «Эта похлебка вовсе не может быть поедаема».
4. *aspt ī́dōkaị na viyṓrt βōšt* — «Лошади здесь не могут быть найдены».

Ту же конструкцию с глаголом *βw-* и ptz.-prät. глагола мы имеем и в согдийских буддийских текстах первых веков и VII в. н. э., напр.,

'XŘny mwδy L' KNNH βyrt 'Pnytn pr'δt βw'y 'X[Řn]ytn mδw prsty wn'n 'XŘny 'mδ pty'δ L' βy'rt βwt (A. Br. IV 5)[3] — '*mwδy* (?) — в настоящее время не может быть найдено и тебе продано. Я бы приготовил для тебя посылку с вином, но здесь не может быть найдена посудина'.

Многочисленные примеры подобных конструкций с *βw-* и непереходным глаголом в активном и переходным в пассивном значении отмечены для ряда согдийских текстов Рейхельтом.[4] Этот список можно дополнить примерами из изданных Рейхельтом же[5] согдийских писем (A. Br.), фрагмента

[1] Manichaica, V, Изв. Акад. Наук, 1913, стр. 1141, прим. 17.

[2] Приводимые в настоящей статье ягнобские фразы и слова взяты мной из моих записей 1934 г. в долине р. Ягноб, где мною проводился сбор материалов по ягнобскому языку по заданиям Таджикистанской базы Академии Наук СССР (*С. К.*).

[3] H. Reichelt. Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums, t. II.

[4] H. Reichelt. Soghdisches, III, ZII, т. 7, стр. 148, Leipzig, 1929.

[5] H. Reichelt. Die soghdischen Handschriftenreste, II.

о Рустаме (R — Fr.), Rauschtrank-Hilfsmittel-Sūtra (RHS), Vajracchedikā Fr. (Vaj.) и изданных Ленцем[1] текстов Suvarṇaprabhāsa — Fr. (ST II, 7) и Rasenajit — Fr. (ST II, 9), а именно: *βw* — для выражения понятия 'мочь' в пассивном значении в конструкции с ptz.-prät. глаголов:

pr''γt (A. Br. II 51) — 'пришедший'
βyrt (A. Br. IV 5; ST II, **9** 1) — 'найденный'
pr'δt (A. Br. IV 6) — 'проданный'
prst't (R-Fr. 7) — 'состоявшийся, произошедший'
'šm'rt (Vaj. 17, 19) — 'мыслимый, представленный'
prβ'yrt (Vaj. 18, 19) — 'вознагражденный'; *frβ'yr't* (Vaj. 24)
''p't (Vaj. 22) — 'измеренный, оцененный'
βy'rt (ST II, **7** 6) — 'обретенный, найденный'
prβ'yr't (ST II, **7** 8, 13, 26) — 'рассказанный, сообщенный'.

Понятие 'что-либо мочь' в активном значении для непереходных глаголов передается в ягнобском той же конструкцией с глаголом *βū-*, как и в согдийском, напр.,

man rōt ẹt na βómišt — 'Я не могу итти'.

То же понятие 'мочь' в активном значении для переходных глаголов в ягнобском, как и в согдийском, передается иначе. Хотя в лексике ягнобского языка для выражения понятия «мочь» и имеется особый глагол *tọn-*: *tọnt-*, являющийся стяженной формой, заимствованной из таджикского основы *tavṓn-*, однако этой основой в конструкции с другими глаголами ягнобский язык не пользуется и выражает понятие 'что-либо мочь' в активном значении с помощью глагола *kun-*: *ikt-* 'делать' в конструкции с ptz.-prät. другого глагола. Например:

1. *ax hẹ̄či na wōft kúntišt* (с. Мархтумайн) — 'он ничего не может сказать'.

2. *mōx íkta kunīm ax níkta kun* — 'мы смогли выполнить, а он не смог выполнить'.

3. *áxtit it ark na ikt kunṓįšt* — 'они не могут выполнить эту работу'.

4. *ōdámt áụtitẹ nē nōt akunṓr* (с. Номиткан) — 'люди не смогли их забрать'.

5. *áwọ̄kaį vēk na-š agudaįrṓnt akunīm* — 'мы не смогли там переправиться (через реку)'.

[1] W. Lentz. Soghdische Texte, II, Berlin, 1934.

6. *man iš šurbō na x^uōrt kunōmišt* — 'я не могу есть этот суп'.

7. *awę hič čuxsę na bizōnt ikta-x* — 'его никто не смог узнать'.

В согдийском буддийских текстов аналогичное понятие для переходных глаголов передается глаголом *wn-* 'делать' в конструкции с винительным падежом объекта и винительным падежом причастия прошедшего времени,[1] например:

rty 'ky ywn'k šm'r'kh· βy'rt wnty (Dhyāna — T. 387) — 'и тот, кто может постигнуть эту мысль...'

Примеры подобных конструкций отмечены Рейхельтом для ряда согдийских текстов.[2] К ним следует добавить глагол *wn-* в конструкции с *γrβ't* (ST II, 7 7, 31, 34) — 'понятный, постигнутый'.

Из приведенных примеров видно, что ягнобская конструкция глагола *kun-*: *ikt-* с ptz.-prät. отражает ту же конструкцию, что и в согдийском буддийских текстов с глаголом *wn-*, и этим применением глагола *kun-* в конструкции с ptz.-prät. имеет аналогию в древне-персидском (*kunav-*) и сакском (*yan-*), как это видно из примеров, приводимых Рейхельтом[3] при проведении параллели в этом отношении между согдийским буддийских текстов, древне-персидским и сакским, а именно:

naiy āha^h ... martiya^h kaščiy hya^h ... gaumātam ... xšaϑ^ram dītam čaxriya^h — 'не было никого, кто бы мог отнять власть у Гауматы' (Bh. I 13) и в сакском — *u naiye hade sina pihyūnina jīvitu nātu yani* (Maitr. 9) — 'без того, чтобы он смог выбить из него душу одним ударом', где выражение *nātu yani* соответствовало бы ягнобское *nōt kunōt* — 'мог бы взять'; сакское *nās*[4] — 'брать' соответствует той же основе *nōs-* в ягнобском.

В согдийском христианских текстов в противоположность согдийскому буддийских текстов понятие 'что-либо мочь' в активном значении выражается не только при помощи *qt'wn* в конструкции с предлогом *pr* и винительным или косвенным падежом отглагольного имени, как это отмечено К. Залеманом и Рейхельтом, например, во фразе:

nyst bnty qt qt' wny dw' xypt'wnt pr spxšy (ST I 45, 7) — 'нет (такого) слуги, который бы мог служить двум господам', но и при помощи *qt'qwn-* в конструкции с релятивной частицей *qt* и соответствующими формами глагола:

1 H. Reichelt. Beiträge zur soghdischen Grammatik в «Studia Indo-Iranica», Leipzig, 1931. стр. 257—258.

2 H. Reichelt. Soghdisches, III, стр. 148, 8.

3 H. Reichelt. Beiträge zur soghdischen Grammatik.

4 Sten Konow. Saka Studies, Oslo, 1932, стр. 158.

ny qt' qt'rnt qt pčbnt tbrnt qw wy' s'r (ST II 1 61) — 'они не смогли дать им ответ'

't č'n qt' qwnymq'n qt γrbym 'yny (ST II 1, 84) — 'как мы сможем это узнать?'

Эта форма *qt'qwn-* некоторых христианских согдийских текстов может быть поставлена в параллель с мунджанской *íkər-kən*[1] — 'мочь', где *íkər* — основа прошедшего времени глагола *ikən-*: *ikər-* 'делать', а *kən* — основа настоящего времени глагола *kən-*: *kər-* 'делать'. Что касается других памирских языков, то в них для выражения понятия «мочь» в активном значении аналогичных согдийскому и ягнобскому конструкций не встречается; для выражения понятия мочь имеется в этих языках особый глагол: в шугнанском *vārδęy-* : *vārδōd* — 'мочь' в конструкции с infinitiv'ом (*xarīd čīdōu̯ na vārδōd* — 'не смог купить'), в язгулемском *bāsay̯-* : *bāsyat* — 'мочь' в конструкции с infinitiv'ом (*āz-da pānd təžaǰ na bāsayīn* — 'я не могу итти'), а в ваханском *baswöz-* : *baswözd* — 'мочь' (*sak baswözyən məltiq yawi dēnən šayən* — 'мы сможем его убить, застрелив из ружья'). В афганском для выражения понятия 'мочь' в активном и пассивном значении употребительна конструкция глагола *šwul* 'делаться' с ptz.-prät.; а в осетинском передается или описательно выражением *mä bon*..., или глаголом *färazən* — 'мочь, быть в состоянии'. Таким образом по сравнению с другими живыми «северо-восточными» иранскими языками понятие 'что-либо мочь' в активном значении выражается в ягнобском языке архаичной конструкцией, имеющей аналогию в древних иранских языках и в согдийском и сакском.

II

1. ягн. *marγ* — 'луг' — согд. *mrγh*.

Согдийское *mrγ-* обычно переводится как 'лес',[2] напр.,

čnn γr' 'kw γrw ny čnn δγšth kw δγšth ny čnn mrγh 'kw mrγh pδ'y n'γ'r L' β'r (VJ 316)

'...de montagne en montagne et de désert en désert et de forêt en forêt mes pieds fatigués ne me portant pas',

или *wn'ym ktγw δywt kw mrγ'* ... (R-Fr. 2)

'...wir machen, dass die Dev zum Wald (?)[3]...'

а также

[1] И. И. Зарубин. К характеристике мунджанского языка, Иран I, Л., 1927, стр. 148.

[2] Ср. R. Gauthiot. Essai de grammaire sogdienne I, стр. 59, 146; ЗII, 7, стр. 147.

[3] В примечании к слову *mrγ-* Рейхельтом дается перевод 'Wald, Wiese'?

'TRny krt'ynč mrγyh 'Pny ''k'rtk wn'kh tmyh 'npt (SCE 241) '...tombe dans l'enfer de la forêt de couteaux et des arbres à glaives'.

Поводом к подобному переводу слова *mrγh* явилось, вероятно, его соответствие в китайских контекстах иероглифу 林 lin 'лес', между тем авестийское *marəγā-* 'луг' и ягнобское *marγ* с тем же значением дают все основания к переводу согдийского *mrγ-* только как 'луг', а не 'лес', что вполне соответствует смыслу приведенных выше фраз. Значение же 'лес' остается за *wn'kh* (VJ 834, 961, 1118).

2. ягн. *vŭ́na* — 'нора, отверстие' — согд. *βwn* (Fr. III 64, 75).

В согдийском тексте, обозначенном Рейхельтом,[1] как Fr. III слово *βwn* встречается в двух местах:

1) ...*rtyšw βwn kwn'y rty mγzy nšk'w'y*... (Fr. III 64) переведенное '...und er mache eine Unterlage dafür und ziehe (das) Gehirn heraus'.

2) *rty ZKw čk't βwn kwn'y* (Fr. III 75) переведенное — 'und er mache eine Unterlage für die Stirn'.

В обеих фразах речь идет о животном, убиваемом с магической целью. Ф. А. Розенберг (OLZ, 1929, № 3) переводит *βwn kwn'y* как 'mache zu unterst' по аналогии с персидским بن كردن.

Е. Бенвенист (J. As., Juillet-Sept., 1929) в отношении перевода этого места, не соглашаясь с данным Г. Рейхельтом переводом, замечает: «le sens de 'trou' paraît préférable». Это предположение вполне подтверждается ягнобским *vŭ́na* в значении 'отверстие, нора'[2] соответствующим согдийскому *βwn*. Тогда первая фраза переводится как:

'и пусть он сделает отверстие и вытащит мозг', а вторая, как 'и пусть он продырявит его лоб'.

3. ягн. *sĭ́ča* — 'воробей' — согд. *syčk* (SCE 131), *syč'kk* (SCE 352), *syčtyty* (ST I, **10, 11**) и *syčh* (SCE 130).

В переводе согдийской фразы из SCE 130:

rty 'YK' myrty rty 'wyh syčyh myδ'ny 'npt rtykδ k'w γwtmt s'r šw'yt rty 'wy syčkk ''z'wnyh 'npt — 'когда он умирает, то попадает к уткам(?) и если отправляется к своим родным, то попадает к воробьям' обращает на себя внимание значение 'утка' для основы *syč-* и значение 'воробей' для той же основы с суффиксом *k*, *'k* (SCE 352).

Между тем во фразе *rtyms wβyw βwtt kp'wt'yčh 'Pny syč'kk 't syčh 'Pny kr'ynch 'Pny 'ym'wtsy ny 'γs'yn'k syč'kk* (SCE 351) переводимое как «puis il est

[1] H. Reichelt. Die soghdischen Handschriftenreste, I.

[2] Напр., *xáuki vŭ́na kának ast* — 'суслик роет нору'.

à la fois pigeon, moineau, canard, canard mandarin, perroquet, moineau bleuâtre» эквивалентом *kr'ynčh* в китайском тексте является иероглиф yuang yang 'утки неразлучники', т. е. тот же, что и для *syčyh* во фразе строки 130. Повидимому согдийский переводчик несколько отступил в своем переводе от оригинала; в соответствии со значением *sīča* 'воробей' в ягнобском языке (< *sīčak*) и *syčh* имеющее ту же основу должно переводиться не уткой, а близким к значению воробей понятием, возможно в SCE 352 как воробей-самка в противоположность *syč'k* воробей-самец, что до некоторой степени являлось бы эквивалентом китайского 鴛 鴦 yuang-yang — 'утка-самец' и 'утка самка', 'утки неразлучники'. При подобном переводе согд. *kr'ynčh*, также отклоняясь от оригинала переводилось бы более вероятно как كُرنج *kurinǰ* 'коршун'; соответствие, отмеченное Бенвенистом (Com. Sogd. 32).

4. ягн. *kapūča* — 'голубь' — согд. *kp'ut'yčh* (SCE 163).

Ягнобское *kapūča* сохраняет в деноминации старого прилагательного суффикс женского рода. На ряду с этим деноминированным прилагательным в названиях гор и местностей ягнобский язык сохранил форму *kapūta* 'синий'.

5. ягн. $x^{u}at$ — 'сам' — согд. *γwty* (SCE 168, 45), согд. хр. *xwd* (ST II 1, 71).

Бенвенистом в Essai de grammaire sogdienne, стр. 120 из ягнобского приведены только соответствия ягн. *xap-*, *xēp-* — согд. *γурδ* (**xēpaϑ*). Ягнобское $x^{u}at$, напр., во фразе: *awōβ na man* x^{u}*at-im várōmišt* — 'он сказал, нет, я понесу сам' дает полное соответствие согд. *γwty*, осет. *xvädäg*.

6. ягн. *γōtk* — 'гнездо, нора, соты' — согд. *γ'δwk'* (VJ 204) 'трон'.

7. ягн. *dōrk* — 'дерево' — согд. хр. *d'rwq* (ST II 1 53).

Эта же основа в шугнанском *δōr-g* — 'палка, шест'.

8. ягн. *čaγz* — 'лягушка' — согд. *čγz-* (SCE 178, Fr. III 40).

Значение согдийскому *čγz-* дано по китайскому контексту. Ягнобское *čaγz*, подтверждая семантику согдийского слова, уточняет его чтение.

9. ягн. *γēr* — 'поздний' — согд. *γyr* (VJ 15).

Относительно этого слова Бенвенист (Essai de grammaire sogdienne, стр. 158) замечает: 'la lecture et l'étymologie en sont incertaines. De *gar-* «veiller»'. Ягнобское *γēr* уточняет чтение *γyr* как **γēr*.

10. ягн. *kimér* — 'красный' — согд. *krm'yr* (VJ 838, SCE 87, 172, 322).

В ягнобском *kimér* мы имеем новый пример падения *r*, как и в *pun* 'полный' — согд. *pwrn-* (D 28) и *kan* 'глухой' — согд. *krn* (SCE 82). Возможно, что здесь имеет место не падение *r*, а его ассимиляция с последующим носовым согласным.

11. ягн. *x^uōr* — 'сестра' — согд. *γw'r* (ST II R. **3** 10).

Ср. осет. диг. *xu̯ärä* 'сестра'. Иранское начальное *x^v* — согд. *γw* (**xw*) сохраняется и в ягнобском, как и начальная группа *xš-* (ягн. *x^išap* — 'ночь', мундж. *xšawå*, осет. *äxšäv*, *ав. xšapa*).

12. ягн. *vōra* — 'верховой' — согд. *β'r'w* (VJ 133), *β'r'kčyk* (VJ 1171).

13. ягн. *mēxk* — 'гвоздь' — согд. *myγk* (SCE 237).

14. ягн. *kŭrta* — 'рубашка' — согд. хр. *qwrt-y* (ST II **5** 27).

Относительно этого согдийского слова Ленц[1] замечает: bed. n. oss. kuṛät «Untergewand». Ягнобское *kŭrta* имеет в восточном ягнобском говоре соответствие *kŭrsa*, что предполагает согдийское **kurθi*. Этимология не ясна. См. W. Henning в BSOS vol. VIII, parts 2 and 3, 1936, стр. 585, прим. 3.

15. ягн. *rūča* — 'отверстие в крыше для выхода дыма и для освещения' согд. *rwčnyh* (F III 87)[2] — «окно».

Ср. язг. *rəǰōn* и орош. *rūz*, *rūzm* в том же значении.

16. ягн. *rau̯t* — 'река' — согд. хр. *rut* (ST II **1** 20).

Ягнобское слово отмечено в 1906 г. Маллицким.[3] Мною зарегистрировано не было. Сохраняется в названии ягнобского селения *pulla rau̯t*.

17. ягн. *s^ipēta* — 'белый' — согд. *'sp'ytk* (VJ 68); ягн. *zērta* — 'желтый' — согд. *zyrt'k* (SCE 173).

Ягнобское окончание *-a* есть результат падения *k* в суффиксе *ăk*. В слове *zērta* обращает на себя внимание сохранение *t* в позиции после *r*. Повидимому это, в противоположность «западным» диалектам, имело место и в согдийском.

Из соответствий глагольных основ отметим следующие:

18. ягн. *γūt* | *γau̯t*, *γáu̯če* (3 sg. praes.) *γáwōt* 3 sg. conj. — согд. *γw-*, *γw''t* (A. Br. II 56, VJ 165).

Напр., *'XRnyβn 'y.|| nγ'mk γw''t 'XRny čn KSP ''sy* (A. Br. II 56). Ср. ягн. *agar γáwōt-šint ūrt* — 'Если им нужно, то принесите'. Эта же основа в язгулемском: *γūváǰ* — 'нуждаться в чем-либо, желать чего-нибудь' и в осет. диг. *γäun*.[4] От той же основы согд. *γw'nčyk* (VJ 128).

19. ягн. *f^išōm-* : *f^išōmt-* — 'посылать' — согд. *'βš'm* (VJ 1343) — согд. хр. *fšm-d't* (ST II **1** 70), *f'š'm* (ST II **6** 18).

Напр., во фразе *f'š'm pr dwrt'* — 'и отпустил их с миром' (ST II **6** 18). В записи Юнкера[5] *f^išon*. Фразу *nē kī au̯i ǰē^ib^a ^aos pákk^a nē kunōr*

[1] H. Reichelt. Die soghdischen Handschriftenreste, t. I.

[2] ST II, стр. 85.

[3] Изв. Ташк. отд. Русск. геогр. общ., т. XVIII, Ташкент, 1924, стр. 165—178.

[4] H. Reichelt. Die soghdischen Handschriftenreste, t. II, стр. 48.

[5] H. P. S. Junker. Drei Erzählungen auf Yaγnåbī, Heidelberg, 1914, стр. 11.

(стр. 34, (4))[1] следует, повидимому, понимать как *nē kī awi ǰēb-aš pa'ka nē kunōr*, где *ǰēb-aš* в полном соответствии с персидским оригиналом: *ǰīb i ūra...*, что исключает соответствие согд. *''s* 'брать' ягнобской форме *os*, каковая не существует в действительности.

20. ягн. *s^a^ráfta* (< *s^a^fárta*) — 'данный' — согд. *δβrt* (VJ 177).

Соответствия ягнобской основы *t^e^far-* и согд. *δβr-* были отмечены Залеманом (Man. II, 549), Розенбергом (O²n. 63) и Готьо. Во всех случаях соответствия ягн. *t-* согд. *δ* (**ϑ*), в восточно-ягнобском говоре согдийскому *δ* (*ϑ*) соответствует *s* (напр., согд. *r'δ* 'дорога', ягн. зап. *rōt*; ягн. вост. *rōs*). Для основы *t^e^far* было отмечено в обоих говорах только начальное *t*. Между тем *s^a^rafta* (ptz.-prät.) в восточном ягнобском говоре подтверждает то же самое историческое развитие согд. *ϑ* в ягнобских говорах, как и в других примерах. Основа наст. вр. *t^e^far-* соответствия *s^a^far-* в восточном ягнобском не имеет.

21. ягн. *ēš-* : *ēšt* — 'кипеть' — согд. *'βy'yš* (SCE 235).

22. Соответствия ягн. *suč* — 'жечь' — согд. *pts'wč* — 'зажигать' (SCE 221) и ягн. *suxs* — 'гореть' — согд. *swγs* (VJ 20^b^) intr. точно так же как и основы ягн. *pač-* 'варить' — согд. *pč* (SCE 219) и ягн. *puxs-* : *puxt* 'вариться' (intr.) говорят за то, что отмеченное Тедеско[2] соответствие согдийского с сакским в комбинировании образований основ наст. вр. *°auk*, *°aug*, одной каузативной в переходном значении и другой инхоативной в непереходном значении, имеет место и в современном ягнобском языке, точно так же как и в шугнанском и язгулемском.

23. ягн. *ravǰ* — 'лаять' — согд. *r'βž* — 'лаять' (O²,39).

24. ягн. *rup* — 'жать, собирать урожай' — согд. *rwp-* (VJ 965).

25. ягн. *parwḗd* — 'просить, домогаться' — согд. *prw'yδ-* (SCE 202).

Повидимому, в данном согдийском слове превербом является не **fră* (см. E. Benveniste, Essai de grammaire sogdienne, стр. 59), а **par*.

26. ягн. *ǰax* (< *xaǰ*?) — согд. *'nγz* (VJ 34^c^).

27. ягн. *ḗta* — 'пошедший', напр., *bōrṓn ḗta kátim ōp táxta* — 'шел дождь и вода проникла в мой дом', соответствует согд. *''ys* (VJ 80, 138), сак. *hīs*, ишк. *is*. Основа настоящего времени этого глагола в ягнобском отсутствует.

28. ягн. *γār-* : *γōrt* — 'видеть' — согд. *γ'r-* (SCE 538).

29. ягн. *lēs* — 'лизать' — согд. *rys-* (VJ 970).

[1] H. P. S. Junker. Op. cit.

[2] P. Tedesco. Les rapports sogdo-saces, BSL, XXV (1924), стр. 59—63.

В данном ягнобском слове возможен или переход $r > l$ или заимствование из таджикского; ср. ягн. *larz-ōn*—'трясти' и согд. хр. *wlrz-* (ST II 2 1).

30. ягн. *xuf-* : *xuft*—'кашлять'—согд. *γw''β* 'cracher' (SCE 323).

31. ягн. *vīr-* : *viyṓrta*—'находить' согд.—*βyr-*, *'βy'rt* (A. Br. II 33) ср. язг. *vīr-aǰ* 'находить', шугн. *viriy-*.

32. ягн. *budúfs*—'прицепляться, приставать'—согд. *pδwβs-y*. (ST II 7 10, 16).

Для слова *pδwβs-* Ленц дает примечание, что значение дается по китайскому контексту; ягн. *budufs*—подтверждает это значение. Ср. язг. *paδáfs*—'приставать' и шугн. *piδáfc*—'приставать'. Из остальных соответствий отметим еще:

33. ягн. *čínter* 'внутри, в' (послелог)—согд. *čntr* (VJ 1351, SCE 164, 370).
Напр., в ягнобском: *xaṷk γṓtke číntər atís anipéd*—'суслик влез в нору и заснул'.

Ягнобское *číntər* употребительно так же, как составная часть названий местностей, напр.: *číntərmēn*—название селения выше с. Куль. Ряд ущелий Ягноба носит название *intár*.

34. ягн. *par* (предлог)—'к, зá, на'—согд. *prw*, *pr* (VJ 874).

Напр., *mēt par mēt*—'день за днем' и согд. *rty ZKh pr 'βt' myδ γwr'nt* (VJ 874)—'и они ели в течение семи дней'.

35. ягн. *áwe*, *aw* (Cas. Obl. от *ax* 'он')—согд. *'wy* (VJ 34, 40), *'w*.

36. ягн. *vékpōra*—'наружи'—согд. *βykprmw* (SCE 28).

37. ягн. *cúte*—'что, как, каким образом'—согд. *cwty* (VJ 4).

38. ягн. *pⁱráṷ* | *pᵃráṷ*—'так, если так'—согд. *pr'w* 'car' (SCE 482).

Напр., ягн. *pⁱráṷ βōt*... 'если будет так, то...'

В ряде случаев отсутствующая параллель согдийскому слову в ягнобском имеется в языках памирской группы. Это позволяло уточнять значение некоторых согдийских слов, как, напр., сделанное Рейхельтом исправление *''pnnph* (VJ 64) на *''pznph*[1] или данное Розенбергом[2] объяснение слова *'pw βr'wk'* (SCE 100) 'безбровый' на основе шугн. *verūγ*—'брови'. Эквивалент этого же слова мы находим и в ягнобском в соответствующей форме: *vürǘk*—'брови'—согд. *βr'wkh* (Dhyāna-T. 46, 44 и др.). В тексте Vessantara Jātaka, строка 1418 *'γw γwt'w pr''šy 'kw z'tk swδ'šn s'r γrβy*... *'spy ny pyδt s't zyrn βyδ'n p'rδwnph ny šyr'kk* слова *βyδ'n p'rδwnph* оставлены без перевода в J.-As. Mai-Juin, 1912, стр. 505,

[1] H. Reichelt. Soghdisches, ZII, т. 4, Leipzig, 1926.
[2] F. Rosenberg. Notes sogdiennes, ИАН СССР, 1931, стр. 629.

а в Documents de l'Asie centrale (Mission Pelliot), Une version sogdienne du Vessantara Jātaka, extrait du Journal Asiatique (Janvier-Février et Mai-Juin 1912), стр. 109, переведены как revêtus de caparaçon (d'or).

По контексту видно, что речь идет о каких-то принадлежностях лошадей, сделанных из золота. Согдийское *βγδ'n* можно поставить в соответствие с шугн. *b'δān* и язг. *b'δān* 'седло'. Это слово в сочетании с p'rδwnph и дает значение 'попона'.

30 апреля 1934 г.

ВАЖНЕЙШИЕ СОКРАЩЕНИЯ

A. Br. — Согд. 'Alte Briefe', изд. Reichelt, H. Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums, Heidelberg, II, 1931.
Bh. — Behistun.
BSL — Bulletin de la Société linguistique de Paris.
BSOS — Bulletin of the School of Oriental Studies (University of London).
Com. Sogd. — Commentaire de la version sogdienne в Le Sūtra des Causes et des Effets, Paris, 1926, стр. 31.
D — Dīrghanakhasūtra, изд. Gauthiot, MSL, t. XVII.
Dhyāna-T. — Dhyāna-Text в издании Reichelt, H. Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums, Heidelberg, I, 1928, стр. 33 и сл.
Fr. III — согдийский фрагмент Fr III, изд. Рейхельтом в Die soghdischen Handschriftenreste I, 1928, стр. 61.
Maitr. — Сак. Maitreya-Samiti, изд. Leumann, Ernst, Maitreya-Samiti, das Zukunftsideal der Buddhisten, Strassburg, 1919.
Man. — Manichaica II, изд. Salemann, C. Bull. de l'Acad. des Sciences de St.-Pétersbourg, 1907.
OLZ — Orientalistische Literaturzeitung.
O^2 — согдийский фрагмент Ольденбурга, изд. Розенберг, ИАН, Л., 1920.
R.-Fr. — согдийский фрагмент Rustam-Fr., изданный Рейхельтом в Die soghdischen Handschriftenreste II 1931, стр. 62.
RHS — Rauschtrank-Hilfsmittel-Sūtra, изд. Reichelt, H. Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums, II 1928, стр. 67.
SCE — Le Sūtra des Causes et des Effets, изд. R. Gauthiot, P. Pelliot и E. Benveniste, Paris, I 1920. II, 1 1926. 2 1928.
ST I — Soghdische Texte I, изд. F. W. K. Müller, ABAW 1912, ph.-h. Kl. Nr. 2.
ST II — Soghdische Texte. II, изд. DR. W. Lentz, SPAW 1934, ph.-h. Kl. XXI.
Vaj. — Vajracchedikā-Fr., изд. Рейхельтом в Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums, II, 1928, стр. 72—75.

VJ — Vessantara Jātaka, изд. Gauthiot, J. As., 1912.
ZII — Zeitschrift für Indologie und Iranistik.
ИАН — Известия Академии Наук СССР.
ав. — авестийский.
ишк. — ишкашимский.
осет. — осетинский.
осет. диг. — осетинский дигорский.
сак. — сакский.
согд. — согдийский.
согд. хр. — согдийский христианский.
шугн. — шугнанский.
ягн. — ягнобский.
язг. — язгулемский.

П. П. ИВАНОВ

«Удельные земли» Сейид-Мухаммед-хана хивинского (1856—1865)

В порядке постановки вопроса о так называемых ханских землях в Средней Азии

К числу характерных особенностей современной среднеазиатской историографии относится преобладание в ней общих обзоров, затрагивающих преимущественно политическую историю края и лишь попутно касающихся основных моментов его социально-экономического прошлого. Специальные исследования по отдельным вопросам внутренней истории пока крайне немногочисленны и почти целиком замыкаются средними веками, мало затрагивая ближайшие к нам столетия. В истории Средней Азии до сих пор остается ряд периодов, исчисляемых нередко столетиями, сведения о которых ограничиваются простым перечнем политических фактов, не связанных ни между собой, ни с предшествующими событиями. Характерно, что к числу таких слабо исследованных периодов относятся не только отдаленные века, как напр. XI или XII, но и позднейшие столетия, вплоть до первых десятилетий XIX в. Высказанная четверть века тому назад акад. В. В. Бартольдом мысль о том, что «история среднеазиатских ханств XVIII—XIX вв. принадлежит к числу наименее разработанных отраслей истории Востока»[1] до сих пор, к сожалению, не утратила своего значения. Наглядным подтверждением этой мысли может служить то обстоятельство, что по истории среднеазиатских ханств XVI—XIX вв. у нас до сих пор не появилось ни одного исследования сколько нибудь удовлетворяющего требованиям современной марксистской историографии. В части публикации источников и материалов у нас пока предпринимаются лишь первые шаги.

Несмотря на важность знакомства с аграрным строем страны для понимания всей предшествующей ее истории, все имеющиеся на этот счет

[1] Кауфманский сборник, М., 1910, стр. 1.

в литературе данные по Средней Азии сводятся пока к попутным высказываниям и кратким указаниям на отдельные факты, нередко отделенные друг от друга целыми столетиями.

Сделанная несколько лет тому назад попытка со стороны одного из экономистов суммировать разбросанные в литературе отрывочные данные и построить на основе их единую схему «эволюции землевладения» в Средней Азии на протяжении более чем тысячелетней ее истории,[1] является пока единственной и вряд ли вообще может быть признана своевременной, в виду общей неразработанности вопроса и множества встречающихся здесь неясностей и противоречий.

Восстановить для Средней Азии хотя бы в основных чертах ту «иерархическую структуру земельной собственности», которую К. Маркс считал характерной вообще для всякого феодального общества, в данное время вообще невозможно без обращения к первоисточникам. Коллективная работа в этом направлении поможет восполнить имеющиеся пробелы и создаст в будущем твердую базу для выводов и обобщений.

Рассматривая таким образом задачи дальнейшей работы, мы коснемся здесь, на основе доступного нам материала, одного из частных вопросов позднейшего среднеазиатского феодализма — вопроса о так называемых ханских землях, до сих пор не вызывавших к себе внимания со стороны исследователей.

Сведения о личном землевладении среднеазиатских феодалов в более ранний период являются вообще скудными и ограничиваются пока краткими упоминаниями о «поместьях дехканов» и «султанских поместьях» Мерва, описания которых в литературе, однако, не встречается.[2]

Личная, повидимому, значительная земельная собственность существовала также у монгольских ханов XIII—XIV вв., хотя ни о размерах, ни о характере ее точных данных также пока не имеется. Историк монголов Рашид-эд-дин отмечает, между прочим, тот факт, что во времена Газан-хана (1295—1304) земли, находившиеся в личном владении членов царского дома и обозначавшиеся термином «инджу», противополагались «землям дивана» (общегосударственным), а те и другие вместе отличались «от земельных участков, находившихся в частном владе-

[1] И. Ходоров. К вопросу об исторической эволюции землевладения в Туркестане, Журн. Историк-марксист, т. 10, 1928 г., стр. 121—153.

[2] Ср. А. Ю. Якубовский. Феодальное общество Ср. Азии и его торговля с Восточной Европой в X—XV вв., Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР, ч. I, изд. Истор.-археогр. инст. и Инст. востоковедения, Акад. Наук СССР, Л., 1933, стр. 16—17.

нии».[1] Говоря об «инджу», другой историк монголов, Вассаф, поясняет, что слово это заимствовано из Хорезма, где им обозначается «собственность владетеля».[2]

Пояснение Вассафа представляет значительный интерес особенно потому, что слово «инджу» современными монголистами считается монгольским[3] и что оно, следовательно, могло попасть в Хорезм от монголов, но не наоборот.

Приведенные слова историка указывают, повидимому, на то обстоятельство, что институт «инджу» имел в Хорезме XIII в. более широкое распространение, чем в других областях монгольского государства.

Характер сдвигов, происходивших в истории ханского землевладения в последующие столетия, остается совершенно неизученным, хотя приводимые ниже сведения об «удельных землях» хивинских ханов показывают, что данная категория феодальной земельной собственности продолжала существовать и, несмотря на неоднократную смену династий, сохранилась в том или ином виде до первого десятилетия XX в. включительно.

В течение двух последних столетий, когда развивающийся российский рынок начал предъявлять постепенно усиливающийся спрос на среднеазиатские изделия и сельскохозяйственное сырье, концентрация земельной собственности в руках феодала и торговца-ростовщика должна была происходить особенно усиленными темпами. Это обстоятельство не могло, в частности, не отразиться также на усиленном росте фонда земель, составляющих личную собственность среднеазиатских ханов XVIII—XIX вв. Иллюстрировать этот процесс для каждого из среднеазиатских ханств в отдельности при наличном состоянии материалов вряд ли было бы возможно, однако, итоги его отчасти поддаются учету. Достаточно было бы сослаться на пример последнего эмира Бухары, в личном владении которого находилось к моменту революции 1920 г., по одним данным, 1300, по другим — 1700 и более десятин орошаемой земли.[4] Другой из представи-

[1] В. В. Бартольд. Персидская надпись на стене Анийской мечети Мануче. СПб., 1911, стр. 28—29. Некоторые замечания о характере землевладения при монголах вообще имеются также в цитиров. статье А. Ю. Якубовского, стр. 48.

[2] E. Quartmère. Histoire des mongols de la Perse. Paris, 1836, t. I, p. 130, note 12.

[3] Б. Я. Владимирцов. Общественный строй монголов. Изд. Акад. Наук СССР, Л., 1934, стр. 100, прим. ?.

[4] Ю. Пославский. К аграрному вопросу в Зеравшанской области. Журнал «Народное хозяйство Средней Азии», 1926, № 11—12, стр. 25—26. Ср. также Д. Н. Логофет, Бухарское ханство под русским протекторатом, т. II, СПб., 1911, 92, а также А. А. Семенов. Очерк поземельно-податного и налогового устройства б. Бухарского ханства. Ташкент, 1929, стр. 40. Об одном из садов бухарских эмиров в г. Катта-Кургане упоминает акад. В. В. Радлов, указывая, что сад «очень велик». См. Зап. Русск. геогр. о-ва, т. VI, 1880 г., стр. 40.

телей позднейших среднеазиатских династий, Худаяр-хан, в момент оставления им Кокандского ханства в 1876 г. обладал «собственным» имуществом, которое оценивалось современниками в 7 млн. руб.,[1] что, разумеется, было бы немыслимо, если бы в эту сумму не была бы включена также стоимость принадлежащих хану личных земельных угодий.[2] Что касается хивинских ханов, то сведения о их земельных имуществах встречаются у большинства путешественников, посещавших Хиву в XIX столетии, хотя все эти данные содержат в себе много неясностей и противоречий, как это будет показано ниже.

I

В связи с усилившимся в Средней Азии ростом общественного разделения труда и развитием элементов товарно-денежного хозяйства, Хивинское ханство в начале XIX в. вступило в стадию разложения феодальных отношений, хотя достаточных предпосылок для внедрения здесь капиталистического способа производства еще не возникло. В области экономики разложение феодализма отразилось, в частности, на переходе от натуральной ренты (харадж) к денежной (салгыт), а в политике оно сказалось на ликвидации мелких феодальных владений и подчинении их единой централизованной власти во главе с ханом Мухаммед-Рахимом (1806—1825).

Несмотря на наличие указанных явлений, феодальный способ производства продолжал в Хиве всецело господствовать и при том, повидимому, в более отсталой, чем в других среднеазиатских ханствах, форме. В пользу этого, между прочим, говорит слабое развитие городской жизни, а также факт более широкого применения методов внеэкономического принуждения в деле эксплоатации непосредственного производителя, особенно на окраинах ханства (каракалпаки, казахи, туркмены). Помимо причин социального порядка, данное положение, повидимому, находится также в связи с изолированностью Хивы от внешнего мира благодаря окружающим ее огромным безводным пространствам. В связи с этим же обстоятельством находятся и многие особенности хозяйственно-бытового уклада хивинского населения,

[1] А. Миддендорф. Очерки Ферганской долины. СПб., 1882, стр. 442.

[2] Об одном из поместий кокандского хана в окрестностях г. Коканда, с дворцом, садом («чарбаг»), рисовыми полями и охотничьими угодьями сообщает кокандский историк первой половины XIX в. хаджи Мухаммед-Хаким-хан. См. Мунтахаб-ат-таварих, рукопись ИВ С 470, лл. 452б — 453а. О загородных садах «Афганбаг» и «Ургенджи-баг» последнего кокандского хана упоминается в статье М. Алибекова «Домашняя жизнь Худаяр-хана». См. Ежегодник Ферганской области, т. II, вып. 1903 г., Новый Маргелан, 1903, стр. 92.

до сих пор, к сожалению, никем не изучавшиеся.[1] Повидимому, общими особенностями исторического развития можно объяснить в частности особую живучесть в Хиве элементов рабовладельческого уклада, выражавшихся в довольно широком применении труда рабов в сельском хозяйстве, о чем подробнее будет сказано ниже, хотя в других среднеазиатских ханствах — Бухаре и Коканде — рабовладение к первой половине XIX в. уже исчерпало свое экономическое содержание.

Что касается собственно аграрных отношений в Хиве, то история их на протяжении ряда предыдущих столетий остается пока неизученной даже в основных своих моментах. На основе тех немногих данных общего порядка, какие встречаются у хивинских историков, можно полагать, что местное землевладение отличалось некоторыми особенностями, связанными с своеобразием общего социально-политического строя Хивы при узбеках.

Явившись в начале XVI в. в Хиву в качестве скотоводческого кочевого народа, узбеки под влиянием недостатка пастбищ, менее чем через столетие, в значительной своей части перешли к земледелию и даже овладели необходимой в местных условиях техникой искусственного орошения. Дженкинсон, посетивший Хиву в 1558 г. отмечает, что узбеки не сеют и не потребляют хлеба, питаясь исключительно мясом.[2] Однако из слов Абулгази видно, что уже к началу XVII столетия узбеками в Хиве были проведены крупные оросительные каналы и производились значительные посевы пшеницы.[3] Ко времени Абулгази относятся также первые сведения об особенностях землевладения среди хивинских узбеков. Рассказывая о постоянных войнах, происходивших между представителями узбекской феодально-родовой знати в Хиве, Мунис сообщает при этом о попытке Абулгази-хана (1643—1663) ввести среди узбеков особого рода неписанную

[1] Из характерных для Хивы особенностей следует отметить, напр., наличие здесь хуторского хозяйства, расположение жилища земледельца посреди принадлежащего ему имения, сохранение здесь первоначальной формы арбы, а также особого местного календаря, существующего на ряду с общепринятым мусульманским календарем. О календаре см. А. Самойлович «Из туркестанской живой старины. Хивинский народный календарь». Журнал «Наука и просвещение», № 2, Ташкент, 1922, стр. 42—43. О прочих упомянутых здесь особенностях см. В. В. Бартольд Ближайшие задачи изучения Туркестана, там же, стр. 10.

[2] Веселовский, Н. И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве, СПб., 1877, стр. 120.

[3] Histoire des Mogols et des Tatares par Aboul-Ghâzi Béhâdour khan publiée, traduite et annotée par Le Baron Desmaisons. Tome I, Texte, p. 280. О значительных размерах производства хлеба в это время говорят чрезвычайно низкие цены на пшеницу. Около шести пудов («половина верблюжьего вьюка») пшеницы стоили в это время, по словам Абулгази, 1 тенге (20 коп. по позднейшему курсу).

конституцию, предусматривавшую как взаимоотношения отдельных родов между собою, так и порядок участия их в общегосударственном правлении.

Рассказ этот сопровождается, между прочим, сообщением о том, что все земли, расположенные по оросительным каналам (нахр), хан распределил между отдельными узбекскими племенами или родами, подробный список которых историком приводится.[1]

Таким образом господствовавший среди узбеков феодально-племенной строй оказал решающее влияние и на землевладение, вылившееся в форму общинно-родового владения землей и водой, когда собственником и распорядителем средств производства являлось не отдельное лицо или территориальная община, а род в целом.[2] Однако при наличии резкой социальной дифференциации внутри рода, когда фактическая власть в нем принадлежала небольшой группе феодально-родовой знати (султаны, беки, бии и т. п.), право фактического распоряжения землей не могло принадлежать массе непосредственных производителей, а сосредоточивалось в руках правящего меньшинства.

Опираясь на вооруженную силу своей дружины (нукеры) и прибегая к средствам внеэкономического принуждения, узбекские родовые феодалы имели возможность организовать также оросительные работы на территории своего рода, что еще более закрепляло их право на распоряжение родовыми землями и ставило в зависимость от них родовую массу, не располагавшую в большинстве ни необходимым инвентарем, ни семенами. Таким образом хотя власть родового коллектива над принадлежавшим ему имуществом была вполне фиктивной, тем не менее род в рассматриваемое время являлся высшим распорядителем родовой собственности, в том числе и земли.

Некоторые данные о наличии общественно-родового землевладения среди хивинских узбеков встречаются также в рассказе Муниса о событиях середины XVIII в. Так, упоминая об оросительных работах в районе к югу от г. Гурлена, автор сообщает, что расположенные здесь земли являлись

[1] Фирдаусу-ль-икбаль, рукоп. ИВ С 571, л. 63б. Полный перевод данного места хивинской хроники дается мною во II томе «Материалов по истории туркмен» (в печати). Там же приводится значительная часть других сведений из хивинской истории Муниса-Агехи, указываемых в данной статье лишь в кратких ссылках.

[2] О социальном содержании понятия «племени» или «рода» у тюркских народов в позднейшие века см. мою работу «Очерк истории каракалпаков». Труды Инст. востоковед. Акад. Наук, т. VII, Л., 1935, стр. 51—54. Что касается общинно-родового землевладения, то в наиболее яркой своей форме оно существовало среди туркмен, где следы его, как известно, сохранялись до самого последнего времени.

собственностью (мульк)[1] племени (рода) мангытов.[2] Характерно при этом, что оросительные работы на мульках мангытов производятся Хураз-беком, являвшимся виднейшим представителем мангытской знати и игравшим выдающуюся политическую роль в Хивинском ханстве около середины XVIII в.[3]

Из приведенного сообщения Муниса видно также, что феодально-родовая знать, игравшая в XVII—XVIII вв. доминирующую политическую роль в Хивинском ханстве, представляла собою в то же время крупнейших землевладельцев района, экспроприировавших так называемую родовую собственность и державших вследствие этого в зависимости от себя всю массу земледельцев и полукочевников «своего» рода. С другой стороны, постоянное стремление феодалов увеличить свои богатства за счет захвата земель соседних родов составляло экономическое содержание тех постоянных политических смут, о которых так много говорят хивинские историки этого периода.[4]

Уже отмечавшийся выше недостаток пастбищ в хивинском районе все более и более вынуждал местное узбекское население переходить к оседлости. Один из русских путешественников, посетивших Хиву с торговым караваном в 1753 г., отмечает широкое распространение здесь земледелия (в том числе хлопководства) при слабом развитии скотоводческого хозяйства.[5] Скот покупается хивинцами почти целиком у окружающих кочевников-казахов, туркмен и каракалпаков. Вынужденный в силу естественных условий переход узбеков к оседлости не сопровождался в Хиве резким разрывом с родовыми традициями или распадением крупных родовых объединений на отдельные составные части, как это наблюдалось, напр.,

[1] Автор употребляет выражение мульк-и-халиси. О значении этого термина будет сообщено ниже.

[2] Фирдаусу-ль-икбаль, рукоп. ИВ Е 6, л. 39б.

[3] Хураз-бек, брат известного Артук-инака, был младшим сыном мангытского бия Ширдали, убитого в 1735 г. при попытках удержать на аральском престоле Шах-Тимура. См. «Материалы по истории каракалпаков». Труды ИВ АН, т. VII, стр. 93.

[4] Характеризуя политический строй Хивы до начала XIX в., Муравьев пишет о ханах: «правление было феодальное, — всякий дышал и гордился независимостью своей, будучи в душе и по делу деспот, а потому никто и не заботился об общем благе». Н. Муравьев. Путешествие в Туркмению и Хиву. М., 1822, ч. II, стр. 36. Более подробные данные о периоде «правления инаков» и «игре в ханы» в это время в Хиве см. Н. И. Веселовский, цит. соч., стр. 211 и сл. В. Бартольд. К истории орошения Туркестана. СПб., 1914, стр. 97. Его же. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 101—102.

[5] Журнал мин. внутр. дел, 1839 г., № 12, стр. 375—377. Это же подтверждается автором «Топографии Оренбургской губернии» П. Рычковым, отмечающим отсутствие в Хиве собственных лошадей и прочего скота, по недостатку «пажитных мест». Сочинения и переводы, 1762 г., январь, стр. 23 (СПб.).

на Зеравшане или в Фергане. Хивинские узбеки оседали целым родом, вследствие чего здесь возник ряд оседлых пунктов, носящих названия крупных узбекских родов, напр., Кунград, Мангыт, Кипчак, Нукуз, и др.[1]

Окончательный переход к оседлости завершился среди хивинских узбеков довольно поздно, повидимому, не ранее первой половины XIX в.[2]

Еще в начале XIX в. часть узбеков-земледельцев не имела обычных поселений-кишлаков, а устраивала в районе своих посевов временные становища, называвшиеся здесь куренями.[3] Хивинский курень имел характер как бы укрепленного лагеря, где земледельческое население (екинчи) сохраняло свое имущество и скот и в случае надобности находило себе защиту от врагов.[4]

На прочность кочевых традиций в среде хивинских узбеков указывает также термин сахранишин — «кочевник», употреблявшийся в Хиве еще во второй половине XIX в. для обозначения сельского жителя вообще.[5]

Несмотря на свою географическую изолированность и неблагоприятные социальные условия, Хива, разумеется, не могла целиком оставаться в стороне от общего экономического развития окружающих стран и народов. Участие в торговле с Россией, Бухарой и окружающей кочевой периферией (казахи, туркмены, каракалпаки),[6] постепенное расширение внутреннего рынка и связанное с этим развитие товарно-денежных отношений и разделение труда должны были оказать свое воздействие как на политический строй страны, так и на производственные отношения в области сельского хозяйства. Феодально-племенная землевладельческая верхушка, строившая свое хозяйственное благополучие на разъединении страны, военных авантюрах и методах внеэкономического принуждения,

[1] Ср. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 109. О разложении родового строя в связи с оседанием в Фергане, см. В. Наливкин, Краткая история Кокандского ханства. Казань, 1886, стр. 35—36.

[2] В 1842 г. Данилевский в своем описании Хивинского ханства упоминает о кочевниках среди так наз. аральских узбеков. Зап. Русск. геогр. общ., т. V, стр. 92.

[3] Термин, знакомый нам еще из быта запорожцев. О значении этого термина среди монголов в Средние века см. акад. Б. Я. Владимирцов, цит. соч. стр. 37, 45.

[4] Один из эпизодов, связанных с куренным образом жизни хивинских узбеков рода китай (хытай), описан Мунисом. См. Фирдаусу-ль-икбаль, рукопись ИВ С 571, л. 195б.

Первое упоминание о курене у узбеков в районе Хивы встречается у Муниса при описании событий первой половины XVI в. (цит. соч., рукоп. ИВ Е 6, л. 28а). Из слов автора видно, что курень сооружался из арб (телег), расставленных кольцом вокруг лагеря.

[5] Ср. напр. Гульшен-и-девлет, рукопись ИВ В 1891, лл. 39а и 59а. В одном случае термин сахранишин относится к кочевникам (элят), в другом — к жителям кишлака Кары.

[6] Данные о торговле Хивы с Россией в XVI—XVIII вв. и литература по торговле Хивы вообще имеются в книге С. В. Жуковского, Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. Петроград, 1915.

оказывалась теперь тормозом в деле дальнейшего развития местной экономики и должна была вызвать против себя реакцию со стороны представителей торгово-ростовщического капитала и отчасти связанных с ним общими интересами отдельных феодальных группировок.

Обострившаяся в течение последних десятилетий XVIII в. борьба между узбекскими феодалами за политическое преобладание закончилась к концу того же столетия победой представителей узбекского рода кунград,[1] при посредстве которых наметившаяся тенденция экономического развития страны получила свое дальнейшее развитие.

Уже в начале XIX в. двум выдающимся представителям новой династии — Эльтузер-хану (1804—1806) и Мухаммед-Рахим-хану (1806—1825) удается ликвидировать большую часть мелких полунезависимых владений и жестокими мерами сломить сопротивление местных феодалов. Значительная часть принадлежавших феодальной знати земель, в результате поражения или даже полного уничтожения их владельцев, должна была поступить в распоряжение главы новой централизованной монархии, или оставлявшего их за собой в качестве «удельного фонда», или жаловавшего их своим родственникам и приближенным, выдвигавшимся нередко из среды торговцев и даже вольноотпущенников и заступавшим теперь место прежних родовых феодалов.

Таким образом, с воцарением кунградской династии социальная структура крупного землевладения в Хиве должна была существенно измениться.

Начавшийся усиленный рост товарно-денежных отношений способствовал переходу значительного количества земель в руки представителей торгово-ростовщического капитала и придворной знати, усиленно эксплоатировавших возрастающую массу безземельного населения путем взимания докапиталистической ренты (издольщина).[2] Купля-продажа земли в первых годах XIX в. становится в Хиве довольно обычным явлением.[3]

Уже в начале 40-х годов XIX в. Данилевский[4] отмечает, что земельная собственность некоторых сановников хивинского хана достигает

[1] О поддержке, оказывавшейся основателю кунградской династии Мухаммед Эмину-инаку со стороны представителей торгового капитала и духовенства см. Фирдаусу-ль-икбаль, рукопись ИВ С 571, лл. 115а—119а.

[2] На ряду с этим в Хиве в рассматриваемое время процветали, разумеется, и ростовщические операции. Из сообщений бывших хивинских невольников известно, что «деньги на проценты даются помесячно; с 1 тилля (15 руб. асс.) в месяц берут по 1 рублю (асс.). Журнал мануф. и торг., 1843 г., ч. II, кн. I, стр. 131.

[3] Это можно установить отчасти на основании ряда недавно обнаруженных мною документов, из которых самый ранний относится к 1213/1798 г. Документы в ближайшее время будут подготовлены к опубликованию.

[4] Цит. соч., стр. 123.

2—3 тысяч танапов. К числу таких крупных землевладельцев к моменту русского завоевания Хивы (1873 г.) принадлежал известный Мад Нияз.[1]

Одновременно с этим протекает процесс дальнейшего разложения рода и общинно-родовой собственности, вследствие чего обширные пространства орошенной земли, находившиеся ранее в родовом владении, переходят теперь на положение или индивидуальной собственности или поступают в собственность государства, выступающего теперь в качестве верховного распорядителя всеми землями.

Описывая приход в первых годах XIX столетия туркменского племени имрели из Хорасана в Хиву, Мунис сообщает, между прочим, что племя это было поселено ханом на землях, представлявших собою собственность (мульк) рода кенегес.[2] Сообщение это важно с двух точек зрения: с одной стороны, оно позволяет утверждать, что распределение земель по признаку родового объединения продолжало в Хиве сохраняться и при первых представителях кунградской династии, с другой — приведенный отрывок подтверждает высказанную выше мысль о возросшей роли государства, в качестве высшего распорядителя всякой земельной собственности, в том числе и родовой. Дальнейшему развитию идеи государства как высшего собственника всякой земли способствовали обширные оросительные работы, осуществленные государственной властью в Хиве в XIX в.[3]

Заканчивая на этом краткие предварительные замечания относительно тех общих изменений, какие происходили в структуре земельной собственности среди хивинских узбеков к моменту возникновения кунградской династии, перейдем теперь к более подробному рассмотрению той категории частновладельческих земель, м у л ь к о в, одну из разновидностей которых составляли ханские мульки, названные условно нами «удельными землями».[4]

[1] О нем см. В. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, стр. 193—194.

[2] Фирдаусу-ль-икбаль, рукоп. ИВ С 571, л. 181б. Речь идет о районе Ходжа-эли Ходжейли).

[3] О них см. В. В. Бартольд, К истории орошения Туркестана, СПб., 1914, стр. 97—102. «Ныне, когда правление инаков, правление удельное, в Хиве уничтожено, Хива в 30 лет... почти удвоила население свое и обработку земли и выкопала множество новых каналов»... Так характеризуют происшедшие в Хиве перемены бывшие хивинские невольники, возвратившиеся в Россию в 30-х гг. XIX в. См. Сведения о Хивинском ханстве в Журнале мануфактур и торговли, 1843 г., ч. II, кн. I стр. 97.

[4] Вопрос о вакуфах в Хиве здесь совсем не затрагивается, так как данная форма землевладения является вообще одной из самых старых в Средней Азии и за период пребывания в Хиве узбеков не подвергалась, повидимому, существенным изменениям. Значительный интерес представляло бы проследить историю землевладения среди той массы отуреченного иранского населения Хорезма («сарты» или «таты», иногда называвшиеся также таджиками), которая в XVI в. была завоевана узбеками и должна была в дальнейшем пережить, повиди-

II

Начнем свое рассмотрение с краткого обзора в хронологическом порядке имеющейся на этот счет небольшой литературы.

Рассматривая сообщения ряда интересующих нас авторов, приходится отметить, что — как это ни странно — наибольшей неясностью и противоречивостью в части занимающего нас вопроса отличаются сведения более поздних писателей, что отчасти связано, повидимому, с тем обстоятельством, что источниками их сведений являлись обычно «официальные данные» ханской администрации, отнюдь не заинтересованной в раскрытии действительной картины.

С наибольшей определенностью о ханских землях в Хиве говорит Муравьев, отмечая, что «хотя и все Хивинское ханство по неограниченности власти хана в существе есть его собственность и принадлежность, однако он имеет еще исключительные земли, которые издревле принадлежали званию инахов[1] — предков его».

«Родовые поместья сии, — продолжает Муравьев, — еще увеличились присоединением имуществ тех несчастных узбеков, которые во времена честолюбивых происков хана были умерщвлены до последнего в роде. Земли сии, составляющие отдельную собственность хана,[2] орошаются множеством водопроводов. . .».[3]

Таким образом Муравьев, отмечая наличие в Хиве особой категории личных ханских земель, имевших характер удельных имений, подчеркивает при этом их строгое различие от общегосударственного земельного фонда хотя верховным распорядителем его был тот же хан. Из слов автора видно, также, что по происхождению своему имения Мухаммед-Рахима явились или наследственными или переходили в собственность хана в качестве конфискованного имущества казненных им феодалов.

Продукция ханских полей была, по словам Муравьева, весьма значительна и сбывалась туркменам, являвшимся, как известно, постоянными потребителями хивинского хлеба. Иногда хан прибегал, по словам того же

мому, крупную ломку в области существовавших ранее аграрных отношений. К сожалению, имеющиеся в настоящее время материалы не позволяют пока остановиться на этом вопросе.

[1] Собственно инаков, под которыми в Хиве разумелись наиболее выдающиеся представители феодально-родовой узбекской знати, игравшие основную роль в политической жизни ханства. Титул инаков носили во второй половине XVIII в. также основатели последней династии Мухаммед-Эмин и сын его Иваз-бий.

[2] Разрядка везде моя.

[3] Н. Муравьев, цит. соч., стр. 80.

автора, к искусственному повышению цен на свой хлеб, путем запрета продажи зерна туркменам другими лицами.

Необходимо вместе с тем отметить, что рассуждения Муравьева о ханской собственности несколько затемняются словами автора о том, что хану же принадлежит «водопровод» (канал) Куюк-там («Гюйк-Там») «и многие другие» каналы, отдаваемые будто бы им на откупа. В действительности, однако, эти каналы назывались «ханскими» не потому, что они принадлежали хану, на правах его собственности, а для того, чтобы оттенить их общегосударственное значение как магистралей, орошающих основные районы ханства (напр., арык Палван, на котором расположен г. Хива).[1]

О значительных доходах, получаемых ханом с своих собственных земель, говорят также русские невольники, вышедшие из Хивы в 30-х годах XIX в., хотя сведения их менее точны, чем у Муравьева.[2]

Еще большей неопределенностью сведения о ханских имуществах отличаются у Данилевского, который говорит о них в связи с перечислением различных категорий землевладельцев, не давая таким образом понять, представляли ли «ханские земли» категорию «удельных имуществ», как это вытекает из слов Муравьева, или они входили формально в состав общегосударственного земельного фонда.

Данилевский отмечает, что почти половина всех культурных земель ханства «принадлежит хану, его родственникам, главным сановникам, прочим чиновникам, медресам и торговому сословию». «Простому народу», по расчетам путешественника, принадлежит лишь несколько более половины всей земельной площади, причем многие из крестьян имеют «не более» 1 танапа (900 кв. саж.).[3] Однако упоминание автора о «собственных садах» хана[4] должно, повидимому, указывать на их особое положение. Такой же неясностью и даже большей запутанностью отличаются данные А. Л. Куна, по словам которого в Хиве «ханскими землями считаются земли присоединенных оружием областей (?), а также орошенные пустопорожние земли, никем не занятые, земли переселившихся жителей и, наконец, конфискованные земли».[5]

[1] Это оттенялось, между прочим, особенно строгой регламентацией работ по очистке «ханских арыков» («казу»), чего не наблюдалось в отношении каналов местного значения. М. И. Иванин в своей книжке «Хива и река Аму-Дарья» (СПб., 1873, стр. 8—11) делит все каналы Хивинского ханства на «государственные или большие», «средние или общинные» и «мелкие или частные».

[2] Журнал мануфактур и торговли, 1843, ч. II, кн. 1, стр. 148.

[3] Г. И. Данилевский, цит. соч., стр. 123.

[4] Там же, стр. 155 и след.

[5] Туркестанские ведомости, 1873, № 32.

«Эти земли, — продолжает Кун, — измерены танапами и раздаются желающим (?) в том размере, в каком они просят(?)».

Здесь же автор сообщает, что ханские земли раздаются (в аренду) преимущественно безземельным («биватенли»). Говоря далее о взимании ренты с крестьян, возделывающих «казенные земли», Кун упоминает при этом о каких-то сборах «с городов и ханских садов», смешивая таким образом в одну группу совершенно различные понятия. Таким образом, несмотря на встречающиеся у автора упоминания о «ханских землях» и «собственных садах» хана, из всего им сказанного не видно, однако, к чему именно сводились основные различия между теми и другимя категориями имуществ.

Рассуждения А. Л. Куна о происхождении и характере «ханских земель» в ханстве носят на себе явный отпечаток книжной схоластики и в известной мере могут быть отнесены к характеристике отдельных категорий государственных (хараджных) земель на мусульманско-арабском Востоке вообще, а не к удельным землям хивинского хана. Впрочем, это видно из слов самого автора, который вместо термина «ханские земли» в другом месте цитируемой статьи употребляет выражение «казенные земли».

Изыскания так называемой «организационной комиссии 1875 г.» также не внесли необходимой ясности в интересующий нас вопрос о ханских землях. Все так называемые мульки (или мильки), т. е. земли, принадлежавшие хану и его родственникам, комиссия объединила в одну группу с общегосударственным земельным фондом, не сохранив для нас каких-либо сообщений о существовавшем между ними различии.

Отмечая это обстоятельство и резюмируя заключение названной комиссии, О. Шкапский[1] в свою очередь также объединяет личные земли (мульки) хана, его родственников и «всех сановников и беков» в одну общую группу, характерной чертой которой являлись, по словам автора, лишь некоторые «облегчения» в налоговом отношении. Такого рода объединение представляется тем более странным, что сам автор в другом месте цитируемой его работы[2] земельные имущества, «лично принадлежащие хану», пытается отличать как от общегосударственных земель, так и от прочих категорий земельной собственности (мульков отдельных лиц, вакуфов и пр.).

Подобного же рода сведения о ханских землях встречаются и у более поздних авторов. Характеризуя хивинское землевладение начала XX в.,

[1] Шкапский, Ор. Аму-Дарьинские очерки, Ташкент, 1900, стр. 109, 119.
[2] Там же, стр. 99.

Гиршфельд и Галкин отмечают, что из общего количества 380 025 дес. возделываемых в Хиве земель около 100 000 дес. «принадлежат хану, его родственникам, сановникам и весьма состоятельным лицам», [1] отмечая, таким образом, лишь значительный удельный вес крупного землевладения в ханстве и картину массовой экспроприации непосредственных производителей, но не сообщая каких-либо положительных данных по интересующему нас вопросу об удельных имуществах.

Что касается, наконец, непосредственно интересующего нас периода царствования Сейид-Мухаммеда, то в смысле необходимых нам данных он не находится в сколько-нибудь лучшем положении по сравнению с остальными десятилетиями XIX в.

Хиву в это время посетила русская миссия (1858 г.), некоторые члены которой оставили записки о своем путешествии.[2] Вопросов землевладения касается лишь один Килевейн, мимоходом упоминающий о том, что у Сейид-Мухаммеда имеются «свои земли и сады».[3]

Сведения Вамбери, посетившего Хиву в 1863 г., еще более скудны и будут разобраны ниже в связи с вопросом о роли труда рабов в сельском хозяйстве ханства.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что неоднократно встречающиеся упоминания о «личных землях и садах» хивинских ханов, с одной стороны, как будто исключают всякого рода сомнения в факте их существования, с другой — отсутствие конкретных данных о характере собственных ханских «садов» и «имений», их местоположении, размерах, а также об основных признаках, отличающих их как от общегосударственных земель, так и личных «мульков» отдельных лиц, не позволяет с достаточной обоснованностью выделить ханские земли в особую, четко обозначенную, категорию и даже установить их наличие в отдельные периоды XIX в. вообще. Эта неясность еще более усиливается от того, что какого бы то ни было разделения на «ведомства» или «министерства» в Хиве, разумеется, не существовало, вследствие чего проследить отдельно те или иные доходы

[1] Гиршфельд и Галкин. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса. Ташкент, 1902—1903, ч. II, стр. 45. Лобачевский (Военно-статистическое описание Туркестанского военного округа, Хивинский район, Ташкент, 1912, стр. 71) ограничивается лаконичеким упоминанием о «землях, составляющих личную собственность хана».

[2] Общие данные о политическом состоянии ханства при Сейид-Мухаммеде приводится Н. И. Веселовским в цитир. его соч., стр. 346 и сл.

[3] Килевейн. Отрывок из путешествия в Хиву и некоторые подробности о ханстве во время правления Сейид Мухаммед-хана. Зап. Русск. геогр. общ., 1861, кн. I, стр. 108 Здесь же автор сообщает, что «земли в Хиве издревле распределены по семействам и племенам, а не принадлежащие никому (?) жалуются ханом в виде награды».

и расходы хана, объединяемые обычно понятием «ханской казны», не представляется возможным.[1]

Между тем вопрос о ханском землевладении в Хиве представляет значительный интерес как для общей истории развития позднейшего среднеазиатского феодализма, так и для характеристики аграрных отношений в Хивинском ханстве, в частности. Поэтому как устранение имеющихся неясностей по данному вопросу, так и уточнение его на основе более широкого фактического материала является весьма желательным. С этой точки зрения является небесполезным ознакомление также с теми немногими данными, которые встречаются по вопросу о ханском землевладении в хивинской истории, составленной придворными историографами Мунисом и Агехи.[2]

III

Посвящая большую часть своего труда описанию военных подвигов ханов, их охот и торжественных приемов, хивинские историки попутно упоминают иногда о ханских «садах» и прочих угодьях и, с целью подчеркнуть богатство и роскошь своих повелителей,[3] иногда описывают их в витиевато-напыщенных выражениях, как в прозе, так и в стихах.

Из сказанного должно быть ясно, что сведения Муниса и Агехи носят отрывочный и односторонний характер, и если они все же, несмотря на все свои недостатки, являются предметом настоящего сообщения,[4] то это объясняется лишь исключительной скудостью имеющихся в литературе данных по этому вопросу, как это отмечалось уже отчасти выше.

Прежде чем переходить к изложению интересующих нас кратких известий из сочинений Муниса и Агехи, остановимся в нескольких словах на их терминологии.

[1] Существенной чертой, отличающей поступления от собственных имуществ хана, являлось то, что они могли тратиться только на личные потребности хана, тогда как общегосударственные средства тратились им и на собственные нужды и на покрытие общих расходов государства.

[2] Общие данные о труде Муниса и Агехи (Огехи) см. в моем Очерке истории каракалпаков. Труды Инст. востоковед. т. VII, Л., 1935, стр. 44—45. Там же, библиография.

[3] Кстати следует заметить, что в связи с ожесточенной гражданской войной, происходившей в Хиве в 1855 г. и в начале 1856 г., ханство в первые годы правления Сейид-Мухаммеда переживало эпоху экономического упадка. Много полей оставалось незасеянными, хлеб ввозился из Бухары, появилась сильная эпидемия. См. Килевейн. Цит. соч., стр. 103.

[4] Доклад читался в Научно-исследов. институте марксизма-ленинизма при ЦК КП(б) Уз в г. Ташкенте в конце 1935 г.

Прежде всего следует отметить, что в отношении интересующей нас категории имуществ авторами совершенно отчетливо выражается понятие их личной принадлежности хану,[1] что ни в коем случае не позволяет нам смешивать фонд ханских удельных угодий с теми или иными имуществами общегосударственного значения, хотя бы и составлявшими «собственность» хана в смысле феодальной собственности вообще.[2]

Упоминая об имениях хана, составляющих личную или родовую его собственность, Агехи применяет по отношению к ним термин «мульк-и-халис» или «мульк-и-халиси» независимо от состава входящих в них хозяйственных угодий. Обозначая собой определенную категорию частновладельческих земель, освобожденных от всякого рода феодальных повинностей, данный термин является общераспространенным для всех среднеазиатских ханств и для Хивы вообще не характерен. Определяя категорию земель мильк-и-халис в Бухарском ханстве XIX в., проф. А. А. Семенов[3] отмечает два присущие данному виду собственности признака: свободу их от всяческого рода обложений (земли «очищенные» или «обельные») и их «жалованный», «дарственный» характер.

В отношении последнего признака приходится отметить, что он, разумеется, несовместим с понятием ханских мульков, носивших или наследственный характер, или образовавшихся, как будет видно из дальнейшего, путем освоения («оживления») новых земель.[4] Что касается пожалования земель, то следует отметить, что при Сейид-Мухаммеде раздача земель, повидимому, была широко распространена, если судить по тому, что большинство имевшихся в распоряжении упоминавшейся уже «организационной комиссии» дарственных документов относилось именно к 50-м годам XIX столетия.[5] Об отдельных случаях пожалования упоминает в своем сочинении и Агехи (см. ниже). Необходимо при этом отметить, что термина «мульк-и-халис» к такого рода пожалованиям автор не применяет, из чего можно заключить, что эти земли не являлись «очищенными» целиком от обложения.

[1] Ср., напр., выражение الحضرتغه مخصوص بولغان ملک خالصی встречающееся в Шахид-и-икбаль, соч. Агехи, рукопись Инст. востоковед. С 571, л. 24б.

[2] В тех же выражениях Агехи говорит и о личной охране и собственных ханских мехремах — الحضرت نینک اوزی خاصهٔ سپاه و مخصوص محرملار Там же, л. 236а.

[3] А. А. Семенов. Очерк поземельно-податного устройства б. Бухарского ханства. Ташкент, 1929, стр. 9.

[4] Замечание относительно «обельного» характера ханских земель должно, повидимому, относиться и к «эмирским землям» в Бухаре (см. выше), о которых, впрочем, А. А. Семенов в своей работе, кажется, не упоминает.

[5] Шкапский, цит. соч., стр. 136.

В отдельных случаях вместо термина «мульк-и-халис» Агехи употребляет выражения «макан-и-халиси» — «место очищенное» (от налога), а также «мазра-и-хусуси» — «личные, собственные земли».[1]

Основную категорию земель в Хивинском ханстве XIX в. составляли земли государственные, для обозначения которых Агехи употребляет термин «мемлеке-и-падшахи».[2] Этот же термин в форме «мемлеке-и-падшалык» был известен хивинцам в конце XIX в.[3] Позднейшими русскими авторами эти земли назывались землями «падшалычными».[4] Владельцы «падшалычных» земель, являвшиеся юридически лишь арендаторами их у государства, уплачивали в ханскую казну поземельный налог — салгыт деньгами, в сумме от 1 до 3 тиллей (1 р. 80 к. — 5 р. 40 к.), «смотря по величине участка».[5] По словам Вамбери, салгыт в 1863 г. взимался в размере 18 тенег (3 р. 60 к.) с каждых 10 танапов.[6] Третью категорию земель составляли вакуфные земли, принадлежавшие религиозным и благотворительным учреждениям.

Что касается различных хозяйственных угодий, находившихся на ханских мильках, то Агехи говорит о них крайне глухо, упоминая в общих выражениях о «дворах» (хаули),[7] «возделываемых полях» (мазра), «садах» (баг) и «дворцах» (каср), воспевая обычно их красоты в самых общих выражениях, но не сообщая при этом более конкретных данных.

Впрочем, устройство богатого хивинского сада нам в общих чертах известно благодаря имеющемуся описанию одного из путешественников 70-х гг. XIX в.[8] Из приложенного к описанию плана видно, что наибольшая площадь в саду отводилась под абрикосы, персики и виноградник; значительно меньшее место занимали яблони, гранаты, винные ягоды и груши. Внутри окружавшей сад высокой стены помещался также двор вместе с жилыми и хозяйственными постройками, огородом и цветником,

[1] В Бухаре в начале XIX в. в этом же значении, повидимому, употреблялся термин «мильк-и-хусуси». См. Записки Инст. востоковед., т. II, вып. 2, Л., 1933, стр. 81.

[2] Гульшен-и-девлет, рукопись Инст. востоковед. № С 1891, л. 123б. Термины «мемлеке-и-падшахи» или «мемлеке-и-султани» употреблялись в Средней Азии также в начале XVI в., так как они встречаются в относящейся к 1514 г. вакуфной грамоте медресе Шейбани-хана. См. рукопись Инст. востоковед. № 670, лл. 19а, 72б, 73а. Этот же термин употреблялся в Бухаре в начале XIX в. См. Записки Инст. востоковед., цит. вып., стр. 81.

[3] Шкапский, цит. соч., стр. 99—100.

[4] Там же, стр. 93, а также Туркест. ведом., 1873, № 32.

[5] Туркест. ведом., 1873 г., № 32.

[6] А. Вамбери. Путешествие по Средней Азии. СПб., 1865, стр. 166—167.

[7] Впрочем, «хаули» не только двор, но и двор с домом и всеми хозяйственными постройками. В этом смысле термин «хаули» употребляет Абулгази (Изд. Демезона. Texte, p. 309).

[8] Военный сборник, 1874, № 4, стр. 384—388.

отделяясь от общей садовой площади посредством особой внутренней стены. Пространство между фруктовыми насаждениями обычно засевалось люцерной. Размеры такого богатого сада достигали, по словам автора, пяти десятин.

Такая цифра, однако, возбуждает большие сомнения, так как фруктовый сад в пять десятин предполагает наличие в Хиве в данный период промышленного садоводства, которого в действительности не существовало здесь, в силу определенных экономических причин, даже в позднейшее время. Правильнее было бы поэтому допустить, что если сады указанных размеров в Хиве и существовали, то они имели иной характер. В связи с этим обстоятельством значительный интерес представляет вопрос о том — всегда ли в Хиве понятие сада связывалось с участком земли, занятым под фруктовые насаждения специально или даже в большей своей части.

С этой стороны заслуживает внимания уже цитировавшаяся выше статья Килевейна, где, между прочим, упоминается о «саде» известного казакского бия Азбергена,[1] находившемся в районе к северу от г. Кунграда. «Сад» Азбергена замечателен тем, что в стенах его в 1856 г. при нападении туркмен нашли себе защиту полторы тысячи семейств местных жителей,[2] повидимому, вместе с своим скотом и имуществом. Что в данном случае под «садом» подразумевается обычная богатая усадьба со всеми ее угодьями, видно из слов того же автора, который отмечает, что в Хиве «каждый владелец земли огораживает участок свой земляными (т. е. глинобитными. *П. И.*) стенами. В ограде у него обыкновенно пашни, сад, огород, скот, иногда и фабрика (?) и различные ремесла.[3] Такой владелец, — продолжает Килевейн, — называется бек или ходжейн (хозяин)».[4] К числу таких богатых, типичных для Хивы, хуторов-поместий принадлежал и «сад» Азбергена, так же как и ханские «сады», о которых упоминает в своей «Истории» Агехи. Упоминая об одном из ханских поместий в сел. Янги-арык, Агехи в одном из своих сочинений[5] говорит о «дворе и саде», а в другом[6] — просто о «дворе» (хаули), не упоминая уже совсем о саде, из чего можно заключить, что «сад» обозначал то же, что и «двор». Об

[1] О нем см. Труды Инст. востоковед. т. VII, Л., 1935, стр. 141, 240. «Сад» Азбергена нанесен на карту, приложенную к сочинению Каульбарса о низовьях Аму-Дарьи.

[2] Килевейн, цит. соч., стр. 98.

[3] Автор имеет в виду и в том и в другом случае кустарные производства.

[4] Там же, стр. 97.

[5] Гульшен-и-девлет, цит. рукопись, № 1891, л. 123б.

[6] Фирдаусу-ль-икбаль, цит. рукопись, л. 251а.

одном из таких «дворов» «с садом и пашнями» упоминает также бывший хивинский невольник Грушин.[1]

Уже упоминавшийся выше план одного из хивинских садов, между прочим, показывает, что двор с относящимися к нему хозяйственными угодьями и огородом занимает только около $^1/_5$ всего обнесенного наружной стеной пространства, а остальная часть площади отводится под фруктовые насаждения и посевы люцерны. Другие приведенные выше данные указывают, однако, что такое соотношение между площадью «двора» и сада в собственном смысле не явилось вообще для Хивы типичным и что удельный вес площади под фруктовыми насаждениями мог понижаться до минимума за счет расширения огорода и пашни. Такого рода имение-хутор также носило в Хиве название «сада».[2] Впрочем, на дальнейшем материале эту мысль можно проследить более подробно.[3]

IV

Не останавливаясь на единственном, повидимому, упоминании о поместье (хаули), принадлежавшем хану Эльтузеру,[4] можно считать, что первые сообщения истории Муниса-Агехи об «удельных землях» хивинских ханов связаны с Мухаммед-Рахимом, положившим, как мы уже видели,

[1] В. Даль. Рассказ пленника Ф. Ф. Грушина. Литературное приложение к «Русскому инвалиду», 1878, № 5, стр. 84.

[2] «Хивинцы живут более в окружности... крепостей, каждый при своем разведенном саду, где и хлеб для себя сеют...» Путешествие из Оренбурга в Хиву самарского купца Рукавкина в 1753 г. Отд. отт. из Журн. мин. внутр. дел, 1839, № 12, стр. 27.

[3] Повидимому, близкое сходство с хивинским «садом» в указанном выше значении в Бухаре имел термин «ч а р б а г» (букв. «четыре сада»), также переводимый иногда в значении «ханский сад» (ср., напр., В. Л. Вяткин, «Материалы к историч. топографии Самаркандского вилайета, стр. 33). Об одном из таких «чарбагов» при тимуридах упоминает Абд-ар-Реззак самаркандский (См. Notices et extraits, XIV, première partie, pp. 498—499), указывая, что площадь его достигала 440 д ж е р и б о в. Упоминания о богатых «чарбагах» среднеазиатских ханов и их сановников встречаются во многих сочинениях по истории Средней Азии XV—XIX вв. Тщательное изучение вопроса о ханских «чарбагах», под которыми следует, повидимому, понимать поместья бухарских феодалов, как светских, так и духовных, несомненно могло бы пролить свет на один из интересных и неисследованных еще вопросов истории феодального землевладения в Средней Азии в послетимуровскую эпоху. В Хиве термин «чарбаг» в XIX в., повидимому, не пользовался распространением, хотя Агехи однажды упоминает о чарбаге некоего Мумин-Каши (Гульшен-и-девлет, цит. рукоп., л. 137а). Очевидно, в Хиве вместо «чарбаг» употреблялся термин «баг» (сад). Впрочем, одно из ханских поместий в районе Куня Ургенча упоминается путешественником Базинером (1842 г.) под названием чербага. См. Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und angränzenden Länder Asiens, Bd. XV, 1848, St. Petersb., S. 104—105. Следует отметить также, что если «сад» (баг, чарбаг) обозначал в Хиве поместье или усадьбу крупного, богатого землевладельца, то обыкновенная усадьба-хутор (также окруженная стеной) обозначается хивинскими историками термином «кала» (букв. «крепость»).

[4] Фирдаусу-ль-икбаль, рукоп. С 571, л. 190б (то же рукоп. Е 6, л. 77а). Поместье располагалось в сел. Куюк-там недалеко от Хивы.

прочное основание политическому могуществу последней по времени местной династии. Описывая различного рода походы Мухаммед-Рахима, хивинские историки упоминают, между прочим, об отдельных его поместьях (хаули), расположенных частью в сел. Янги-арык,[1] частью в Бадркенте (в окрестностях г. Хивы)[2] и Анбаре.[3] Последнее селение (кал'а), как видно из описания, принадлежало хану целиком.

Из европейских путешественников о поместьях («садах») Мухаммед-Рахима, расположенных в районах Ташауза, Китая и Анбара, упоминает также известный Ковырзин, близко знавший хозяйственную жизнь ханства (бежал из хивинской неволи в 1826 г.).[4]

Ряд имений («дворов» и «садов»), принадлежавших хану Мухаммед-Рахиму, упоминается и при его преемниках. Так, напр., ханские угодья в сел. Янги-арыке упоминаются в 1842 г., когда на хивинский престол взошел второй преемник Мухаммед-Рахима — Рахим-Кули-хан.[5] Некоторые из имений Мухаммед-Рахима, однако, не упоминаются при описании дальнейших царствований, и, наоборот, упоминаются новые поместья, не встречавшиеся при Мухаммед-Рахиме, как, напр., ханские «дворы» (хаули) и «сады» (баг) в окрестностях г. Куня Ургенча, принадлежавшие в 1853 г. Мухаммед-Эмин-хану.[6] О дальнейшей судьбе поместий в Куня Ургенче сведений не встречается. Исчезновение из состава «удельных земель» некоторых угодий может быть связано или с передачей их владельцами в вакф, что было сделано, напр., Рахим-кули-ханом (1842—1845),[7] или пожалованием их своим родственникам и приближенным, как это будет ниже отмечено в отношении царствования Сейид-Мухаммед-хана. Таким образом, «удельный фонд» хивинских ханов не представлял собой неизменной величины и в той или иной части на протяжении XIX в. менялся. Как общий объем «удельного фонда», так и характер происходивших в нем с течением времени изменений могут быть довольно подробно прослежены на материалах истории царствования Сейид-Мухаммед-хана (1856—1865),[8] к рассмотрению которых мы теперь и приступим.

[1] Фирдаусу-ль-икбаль, рукопись Инст. востоковед. Е 6, лл. 251а, 259б.

[2] Там же, рукопись С 571, л. 253б.

[3] Там же, л. 293б.

[4] Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens, Bd. II, St. Petersb., 1839, S. 20—21.

[5] Мунис-Агехи, рукопись Е 6, л. 393б.

[6] Там же, л. 492а.

[7] Там же, л. 496б.

[8] История эта носит у Агехи пышное название Гульшен-и-девлет — «Цветник благоденствия». Цитируется по рукописи Инст. востоковед. С, 1891.

Первое сообщение Агехи о поместьях Сейид-Мухаммеда относится к 1272 г. х. (1856) и связано с рассказом о посещении ханом местности (селения) Гендумкан[1] в окрестностях г. Хивы и устройстве им здесь угощения своим приближенным. Прежде чем приступить к подробному описанию роскоши ханского пира, автор, между прочим, сообщает следующее: «В Гендумкане имеется прелестный сад и великолепный двор, которые были устроены блаженной памяти Мухаммед-Рахим ханом, отцом (Сейид-Мухаммеда). После смерти его величества (Мухаммед-Рахима) этот сад вместе с двором достались его сыну Рахман-кули-инаку, а после смерти последнего перешли к сыну его Муса-тöре. Когда Муса-тöре умер, детей у него не осталось. В настоящее время его величество (Сейид-Мухаммед) овладел по наследству (بطريقهٔ ارث) этим подобным раю садом **вместе с двором** (хаули) и **прекрасными полями** («мазра») и превратил все это в свой собственный, «очищенный» мульк (мульк-и-халис»).[2] Несмотря на довольно общий свой характер, приведенный отрывок интересен в том отношении, что им подчеркивается определенная преемственность в порядке наследования родовыми поместьями ханского рода, в соответствии со старшинством его представителей. Это, между прочим, подтверждается и другим, более поздним, сочинением Агехи, где сообщается, что когда хан Сейид-Мухаммед умер (1865) и его престол занял сын его Сейид-Мухаммед-Рахим, то он же наследовал и указанное поместье в Гендумкане в качестве личного своего мулька.[3]

Приведенный отрывок ценен также в том смысле, что он весьма отчетливо вскрывает понятие ханского «сада», упоминая при этом о «дворе», под которым, очевидно, разумеются хозяйственные постройки поместья. и «прекрасных пашнях», как принадлежности «сада».[4] Обратим внимание при этом на то обстоятельство, что в данном случае речь идет о «пригородном» саде, который, не имея данного свидетельства Агехи, можно

[1] О Гендумкане (كندمكان) в качестве селения («кент») у ворот г. Хивы упоминает уже Абулгази в XVII в. (См. Histoire de Mogols etc. Texte, p. 317). О саде Гендумкан (**Гюмгюмдан**) около Хивы упоминает Килевейн в 1858 г. (цит. соч., стр. 101), а также Н. Залесов (Военный сборник, 1859, кн. 5, стр. 274—275).

[2] Гульшен-и-девлет, цит. рукопись, л. 71б—72а. Далее следует обширное стихотворение, восхваляющее красоты «сада» и его хаузов (водоемов). По поводу сада в Гендумкане Килевейн говорит следующее: «Сад этот — месторождение Сейид-Мухаммеда,—принадлежал некогда его отцу Мухаммед-Рахиму» (цит. соч., 101).

[3] Шахид-и-икбаль. Соч. Агехи, рукопись Инст. востоковед., № С 572, л. 24б. Про хана Сейид-Мухаммед-Рахима автор сообщает, что тот любил выезжать в свои «**сады**», когда в городе наступала летом жара (здесь же, лл. 209а—209б).

[4] Н. Залесов (цит. соч., 275) говорит в частности о большом количестве дынь, которые выращивались в «саду» Гендумкан.

было бы легко принять за «пригородную виллу» или обыкновенную «летнюю резиденцию» хана, лишенную всякого хозяйственного значения.[1] Такой взгляд на ханские «сады» целиком опровергается как приведенным местом сочинения нашего автора, так и некоторыми другими его сообщениями.

Излагая дальнейшие события царствования Сейид-Мухаммеда, Агехи, между прочим, сообщает, что в 1273 г. х. (1857) хан на двух принадлежащих ему наследственных мульках (ملك موروثی), являвшихся личными его полями (مزرعهٔ خصوصی), одно из которых находилось к югу от г. Хивы в местности Ангарык (انگاریک)[2] а другое — к востоку (от Хивы) в селении (карье) Гендумкан (о котором говорилось уже выше), приказал устроить «прелестные сады» (баг) и «великолепные дворцы» (каср).[3] Далее рассказывается, что в каждом из устроенных садов были насажены высокие деревья, «возносившие свои вершины к небу», а также произведена посадка различных сортов фруктовых насаждений. С разных сторон к садам были проведены арыки, устроены хаузы (водоемы) и насажены цветы. Сообщение заканчивается большим стихотворением и «тарихом» (хронограммой) по случаю устройства садов.[4]

Эти слова Агехи являются дальнейшим подтверждением того, что сад, как таковой, хотя и является составной частью ханского поместья — «сада», однако, не составлял его существенной принадлежности, иначе трудно было бы понять приведенный рассказ об устройстве сада в Гендумкане в 1273 г., поскольку о «саде» здесь же говорилось уже годом раньше.

При описании ханской охоты в том же (1273) году, Агехи, между прочим, сообщает, что хан по выезде из столицы сделал первую свою остановку в местности Янги-арык, где «находился прекрасный двор и пленящий сердце сад, входивший в состав (земель) мемлеке-и-падшахи».[5]

Другим местом, где располагались ханские поместья, являлось селение (карье) Чанак-шейх (چانکشیخ), находившееся приблизительно на половине пути между Хивой и Ургенчем.[6] Поместья в Чанак-шейхе пользовались,

[1] Так расценивает, напр., «эмирские земли» в Бухаре проф. Ю. И. Пославский. См. Журн. нар. хоз. Ср. Азии, 1926, № 11—12, стр. 22. Противоположную точку зрения И. Е. Ходорова см. журн. Историк-марксист, 1928, т. 10, стр. 144.

[2] О канале под таким названием упоминает Кун, Турк. ведом., 1873, № 32.

[3] Гульшен-и-девлет, цит. рукопись, л. 110а. Из сообщения Н. Залесова видно, что один «дворец» в Ангарыке (Ангерик) существовал еще в 1842 г. (цит. соч., стр. 283—284).

[4] Там же, лл. 110а—110б.

[5] Там же, л. 123б. Как упоминалось уже выше, «двором» в Янги-арыке (сел. в 30—35 км к востоку от Хивы) владел уже Мухаммед-Рахим.

[6] Там же, л. 241а.

повидимому, значительной известностью, так как о них упоминает один из русских путешественников, топограф Непринцев, из слов которого видно, что «ханский сад Чанах-чих» находился в 9 км от Кош-купрюка (Кош-купыр) в сторону Хивы среди сплошь обработанной местности.[1] О ханских «садах» в Чанак-шейхе Агехи упоминает три раза, не давая, к сожалению, каких-либо интересных для нас подробностей. В первый раз автор говорит о местности (маузи) Чанак-шейх в связи с описанием поездки Сейид-Мухаммеда на поклонение (зиярет) мавзолею святого Увейс-султана (у подножия горы Султан-Уиз-даг), по возвращении откуда хан посетил Чанак-шейх, где находился «прекрасный двор и прелестный сад, являвшиеся (собственным) мульком (мульк-и-халиси) его величества».[2]

В другом месте[3] автор добавляет, что в Чанак-шейхе находился также богатый ханский дворец (каср), построенный по личному распоряжению Сейид-Мухаммеда. То же самое повторяет Агехи в третьем месте,[4] называя здесь Чанак-шейх уже не местностью (маузи), а селением (карье). Характера угодий, входивших в состав ханского мулька в Чанак-шейхе, Агехи не указывает, однако, из приводившегося выше сообщения топографа Непринцева о сплошной полосе возделываемых здесь земель можно заключить, что и данное ханское поместье не являлось обыкновенным садом, на что, впрочем, отчасти указывает и сам Агехи, упоминающий одновременно с «садом» и о «прекрасном дворе».

Почти все приведенные выше сообщения Агехи указывают, что ханские имения-мульки являлись наследственными, составляя как бы фамильные домены ханствующего дома (ملك موروثى). Одно из таких же наследственных поместий, состоявшее из роскошного «сада» и принадлежавшее также к числу «очищенных» ханских имений (مكان خالص), находилось в районе г. Ургенча.[5]

На ряду с наследственными землями автор истории Сейид-Мухаммеда говорит также о ханских имениях («садах»), устроенных и на вновь орошенных землях. Примером такого «пленящего сердце сада», поэтическое описание которого занимает видное место в сочинении Агехи, является ханское поместье в Шимамкенте, на правом берегу Аму-дарьи, к северу от Шейх-Аббас-вели.

[1] Н. И. Гродеков. Война в Туркмении, т. I, СПб., 1883. Приложение, стр. 33—34.
[2] Гульшен-и-девлет, л. 161б.
[3] Там же, л. 180б.
[4] Там же, л. 241а.
[5] Там же, л. 240б.

«Да будет известно,—говорит Агехи,[1]—что Шимамкентом называется (местность), представлявшая собой с давних пор пустынную невозделываемую (بور) равнину (هموار). По приказу его величества (Сейид-Мухаммеда), один из его приближенных, высокопоставленный Мухаммед-Якуб-мехрем, провел в этих невозделанных землях новый арык (яб) и оросил их, благодаря чему в этой цветущей местности стали возделываться всевозможные злаки (галля). Прибыв сюда (в 1278—1861 г.), хан приказал устроить здесь сад,[2] вследствие чего искусные землемеры (муссах) и отличные инженеры (мухандис) отмерили сто танапов земли и приготовили место для сада, а затем посадили здесь саженцы (нихаль) ста сортов (?) различных фруктовых деревьев».[3] Данное сообщение важно не только в том отношении, что оно позволяет установить с полной достоверностью один из источников пополнения ханского удельного фонда (за счет «оживленных земель»), но и потому, что оно на этот раз определяет размеры ханского «сада». Принимая величину хивинского танапа в 900 кв. саж., мы должны были бы определить размер данного «сада» в 40—45 га. Несмотря на свою кажущуюся скромность, данная цифра должна быть признана в условиях орошаемого хивинского хозяйства чрезвычайно значительной, если принять во внимание, что размеры земельных наделов для большинства крестьянских дворов в районах, прилегающих к каналу Шимамкент, определяются, по Шкапскому, от 1 танапа, при наличии значительного числа безземельных.[4] Приведенный отрывок является также одним из бесспорных доказательств в пользу принятого нами толкования термина «сад» в хивинских условиях. Немыслимо совершенно допустить, чтобы вся отведенная «искусными землемерами»[5] орошаемая площадь в Шимамкенте была отведена под древесные, тем более фруктовые, насаждения. Совершенно бесспорно, что под

[1] Гульшен-и-девлет, лл. 238а—238б.

[2] В тексте باغ و بوستان (баг ве бустан), различие между которыми автором не объясняется. О значении этих терминов в средние века (также о чарбаге) см. В. В. Бартольд, История культ. жизни Туркестана, стр. 36.

[3] Ср. также В. В. Бартольд, К истории орошения Туркестана. СПб., 1911, стр. 102. Шкапский (цит. соч., стр. 120, 138) также упоминает о канале Шимам, но неизвестно, по каким причинам относит его прорытие к началу XIX в., строя на этом некоторые свои рассуждения. Арык Шимам нанесен на специальных картах Хивинского оазиса, напр. на карте, приложенной к книге Шкапского, а также в «Материалах» по землепользованию Аму-дарьинского отдела, изд. Переселенч. управл., Ташкент, 1915. На карте, приложенной к книге А. В. Каульбарса «Низовья Аму-дарьи» (СПб., 1881), нанесен также «сад Шмам-бак» (т. е. «баг»).

[4] Шкапский, цит. соч., стр. 135, также таблица на стр. 193. Правда, сведения Шкапского относятся к периоду спустя 30 лет после описываемых событий, однако, общая картина распределения крестьянских угодий вряд ли подверглась за это время значительным изменениям в лучшую сторону.

[5] Обычно они называются в Средней Азии «танапкешами».

садом здесь автор разумеет весь комплекс хозяйственных угодий, включая сюда пахотные земли и вообще все необходимое для ведения большого хозяйства.[1]

В соседнем с Шимамкентом районе — Шураханском — находилось и другое ханское поместье (мульк-и-халиси), расположенное около Анбар-хана и состоявшее из «прекрасного двора» (хаули) и «прелестного сада» (баг). В «саду» находился дворец хана (каср), «прекрасный, как райские чертоги».[2]

Изложенными краткими отрывками по существу и исчерпываются данные Агехи о поместьях Сейид-Мухаммед-хана.

Является ли приводимый историком перечень ханских «садов»-поместий исчерпывающим — сказать трудно, так как все приведенные выше сведения даются автором попутно и какой-либо самостоятельной цели не преследуют.

Отмечаемые Агехи пункты (Гендумкан, Ангарык, Чанак-шейх, Янги-арык, Шимамкент, Анбар-хана) показывают, что поместья Сейид-Мухаммеда располагались преимущественно в окрестностях столицы, в радиусе 20—25 км от г. Хивы, и отчасти в районе Шурахана, на правом берегу Аму-дарьи,[3] т. е. почти исключительно в центральной части ханства, где земля представляла особенно высокую ценность[4] и где сбыт земледельческой продукции представлял ряд преимуществ по сравнению с окраинными районами.[5]

Несмотря на то, что приведенные здесь сведения Агехи незначительны по объему и односторонни по содержанию, они все же позволяют установить с несомненностью как самый факт существования в Хиве ханских родовых поместий-мульков, так и специфическую черту их — характер «обельных» земель, не свойственный вообще ни государственным землям, ни частновладельческим мулькам ханства.

1 Принятое здесь толкование термина «сад» целиком относится также к современности, как это удалось мне выяснить в Ташкенте от лиц, непосредственно знакомых с хивинским районом Узбекской ССР.

2 Гульшен-и-девлет, лл. 236б — 237а.

3 Район современного г. Тöрткöля (Турткуля), центра Кара-Калпакской АССР.

4 В 30-х гг. XIX в. танап земли в Хиве стоил от 15 до 500 руб. и более (асс.), смотря по качеству земли и расстоянию ее от центральных городов ханства; чем ближе находился участок к Хиве и Ургенчу, тем он стоил дороже. Журн. мануфактур и торговли, 1843, ч. II, стр. 183.

5 Особенно выгодными в ближайших к Хиве районах являлись посевы люцерны, а также бахчи (ср. Журн. мануф. и торг., цит. соч., 378, 380, 383). Повидимому в связи с этим обстоятельством в «саду» в Гендумкане находились большие бахчи, о которых упоминает Н. Залесов (см. выше).

Благодаря данным нашего автора, мы теперь получаем возможность рассматривать ханские земли «во времени и пространстве», зная более или менее определенно как состав угодий одного из хивинских ханов, так и размещение их на территории ханства.

Само собой разумеется, что приведенные данные составляют только часть (хотя и существенную) из того, что необходимо нам было бы знать для характеристики ханского землевладения.

Подробных сведений о составе хозяйственных угодий на ханских мульках и каких бы то ни было данных об организации и экономике ханского хозяйства, — мы в сочинении Агехи, разумеется, не встречаем; точно так же не находим мы здесь каких-либо указаний на особенности положения крестьянства на ханских землях и методы его эксплоатации. Все такого рода данные приходится заимствовать из тех кратких заметок и сообщений, какие встречаются в некоторых сочинениях европейских путешественников. Однако, прежде чем пореходить к рассмотрению имеющихся немногих известий этого рода, остановимся еще в нескольких словах на поместьях старшего брата Сейид-Мухаммед-хана — Сейид-Махмуда-тöре, игравшего выдающуюся роль в ханстве в данный период и даже носившего титул «эмир-уль-умара» — главнокомандующий.

Описывая один из походов, совершавшихся Сейид-Махмудом против возмутившихся туркмен-йомутов в 1275—1858 г., Агехи упоминает об одной остановке войск в местности между (городами) Мангытом и Кытаем, «где находились (собственные) мульки-поместья (мульки-и-халиси) и обширные поля (мазра-и-васи') царевича».[1] В другом месте[2] сообщается о «восхитительном саде» Сейид-Махмуда, находившемся в районе к западу от Хазараспа. В третий раз Агехи упоминает о большом «саде» в Шурахане, принадлежавшем раньше царевичу Рахим-кули-инаку, а теперь являющемся собственностью эмир-уль-умара (Сейид-Махмуда).[3] В «саду» находился высокий дворец, также обозначаемый автором термином «каср».

Говоря о районе Шурахана, следует отметить, что значительное большинство орошенных земель этой местности находилось, повидимому, на положении мульков, принадлежавших представителям ханствующего рода. Так, в одном из более ранних рассказов Агехи[4] сообщается, что вся местность (маузи) Шурахан с ее волостями и районами (توابع و لواحق بيله)

[1] Гульшен-и-девлет, л. 171а. О Сейид-Махмуде упоминает Килевейн (цит. соч., 104), как об умном и «весьма богатом» человеке.

[2] Там же, л. 235а.

[3] Там же, л. 237б.

[4] Там же, лл. 129а —129б.

была пожалована ханом (Сейид-Мухаммедом) своему брату Сейид-Махмуду, а тот в свою очередь все пахотные земли (جميع مزروعات) этого района пожаловал Мухаммед-Якуб-баю в награду за выдающуюся его службу царевичу.[1]

Из приводившегося выше более позднего сообщения автора видно, что упоминавшийся уже ханский «сад» в Анбар-хана не входил в общее число пожалованных Сейид-Махмуду угодий и продолжал оставаться на положении отдельного поместья самого хана.[2] Что касается сообщения о передаче земли Мухаммед-Якуб-баю, то оно интересно в том отношении, что подтверждает высказывавшийся уже однажды в литературе взгляд на возможность пожалований не только из общегосударственного земельного фонда («падшалычные» земли), но и из ханских фамильных мульков-поместий.[3]

К землям, выбывшим таким путем из состава «удельного» фонда, наш автор уже не относит титула «мульк-и-халис», что, повидимому, должно указывать на отличие обыкновенных частновладельческих мульков в налоговом отношении от личных земель хана и его ближайших родственников, в том случае, очевидно, если «обеление» частных мульков не оговорено особыми ханскими ярлыками.[4]

V

Подходя к выяснению вопроса о характере эксплоатации крестьянства, сидевшего на удельных землях хивинских ханов, мы встречаемся здесь с значительным разнообразием производственных отношений, свойственных вообще району Хивы в рассматриваемую эпоху и изученных пока еще крайне недостаточно.

Характеризуя помещичье хозяйство послереформенной России, хозяйство «переходной эпохи», В. И. Ленин дает нам классический образец ана-

[1] О крупной земельной собственности «эмир-уль-умара» (Сейид-Махмуда) в Шураханском районе упоминают и русские исследователи. См. Туркест. ведом., 1875, № 10. Данилевский (цит. соч., стр. 123) также отмечает, что земли, расположенные по правому берегу Аму-дарьи, целиком находились во владении лиц ханствующего дома и их приближенных.

[2] Шкапский (цит. соч., стр. 108) говорит о некоторых других членах ханской фамилии, также, повидимому, владевших землями в Шураханском районе.

[3] Данные по этому вопросу приводятся у Шкапского (цит. соч., стр. 99), оспаривающего возможность пожалований из фонда ханских земель.

[4] Шкапский (цит. соч., стр. 113) утверждает, что «Хивинское ханство не практикует такой системы («обеления»). Если это мнение и соответствует действительности, то, возможно, только для позднейшего времени; примером такого рода «обеления» частновладельческого милька служит ярлык хивинского хана Алла-кули (1825—1842), выданный в 1241 (1826) г. туркменским ходжам «на тарханское достоинство». См. Труды Вост. отд. Русск. археол. общ., ч. IV, 1859, стр. 450 (текст) и 453 (русский перевод).

лиза происходившей здесь борьбы элементов барщинного хозяйства с развивающейся капиталистической системой.[1]

Сравнивая Россию и Хиву 60-х годов XIX в. следует отметить, что существенная разница заключалась между ними конечно в том, что в русской деревне пережитки феодальных отношений сравнительно быстро уступали свое место капитализму, а в Хиве они лишь постепенно разлагались под влиянием роста товарных отношений, не утрачивая, однако, своей устойчивости. В соответствии с этими особенностями обезземеливание крестьянства в России вело «к превращению крестьянина в сельского рабочего», а в Хиве та же причина обусловливала собой дальнейшее распространение испольщины и укрепление докапиталистических форм эксплоатации.[2]

Широкое распространение испольной аренды — факт достаточно хорошо известный как в Хиве, так и в Средней Азии в целом.[3] Такого же рода аренда практиковалась и на ханских землях, как свидетельствуют об этом имеющиеся в нашем распоряжении материалы. Так, напр., бывшие русские невольники в Хиве рассказывают, что хан часть своей земли «отдает в наймы, смотря по доброте, с третьей, четвертой и пятой части урожая».[4]

Цитировавшийся уже выше Данилевский (1842) отмечает, что «ханские земли отдаются ежегодно в распашку под условием, чтобы третье зерно поступало в ханские житницы».[5] Количество собираемого ханом ежегодно таким образом зерна Данилевский определяет в 150 тыс. батманов.[6]

Эти же условия испольной аренды существовали в Хиве и в рассматриваемый нами период правления Сейид-Мухаммед-хана. Об этом сообщает

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. III, изд. 3-е, 1927, стр. 141—150.

[2] Это не значит, конечно, что наемный труд в сельском хозяйстве Хивы не применялся вовсе, однако, его удельный вес был ничтожен. В 30-х гг. XIX в. наемный рабочий в Хиве получал 7 тенге (3 р. 50 коп. асс.) в месяц при цене пшеницы от 50 до 80 коп. асс. за пуд. См. Журн. мануф. и торг., 1843, ч. II, СПб., стр. 131 — 132.

[3] Ср. замечания автора по этому вопросу в Известиях АН СССР по отделению общественных наук, 1935 г. № 8, стр. 755 и сл.

[4] Журн. мануф. и торг., 1843, ч. II, стр. 148. Сведения относятся к 30-м гг. XIX в., когда в Хиве правил Алла-кули-хан.

[5] Данилевский, цит. соч., стр. 136.

[6] Хивинский батман —45—49 ф. Пользуясь последней цифрой Данилевского, можно было бы произвести примерный подсчет ханских земель, обрабатывавшихся через издольщиков. Принимая, с некоторой условностью, что половина всех земель засевалась под пшеницу, а остальная часть под джугару и просо (ср. Военный сборн., 1874, № 4, стр. 375, 378—379) и принимая среднюю урожайность пшеницы в 50 пуд., а джугары и проса — в 75 пуд. с танапа, мы должны будем определить среднюю урожайность 1 танапа приблизительно в 62 пуда. Умножив цифру поступавшего в ханские «житницы» зерна на 3 и разделив затем получившееся число на 62, мы должны будем определить засевавшуюся издольщиками площадь в 7770 танапов, или около 2900 дес.

Килевейн, указывающий, что «хан часто отдает свои земли и сады в аренду и получает за это третью часть дохода».[1] Являлось ли данное условие аренды единственным для рассматриваемого времени — сказать трудно, за отсутствием соответствующих указаний. Более поздние путешественники, впрочем, отмечают, что доля непосредственного производителя падала иногда с $^2/_3$ до $^1/_3$ урожая,[2] также не указывая условий, на каких производилась сдача-аренда земли. Изъятие прибавочного продукта в форме натуральной ренты не избавляло, разумеется, крестьянина от целого ряда «отработок», из которых наиболее тяжелой являлась, как известно, повинность по очистке и ремонту оросительных сооружений, требовавших большого труда и времени в разгар весенних полевых работ.[3] Возможно также, что сдача ханских угодий в аренду была связана с участием откупщиков. На такое предположение наводит сообщение Данилевского о том, что ханские «сады» сдаются на откуп по цене от 80 до 250 тиллей.[4] Откупщики уже от себя могли сдавать снятые ими земли мелкими участками непосредственным производителям.

Значительный интерес вызывают слова Муравьева о том, что на ханских землях при Мухаммед-Рахиме работает население «нескольких деревень» сартов[5] и каракалпаков, поселенных здесь в принудительном порядке.[6] За свою работу данная группа крестьян была освобождена, по словам Муравьева, от подати с котла, т. е. от уплаты ренты государству (салгыт).

К чему вообще сводились особенности в положении данной группы крестьян и продолжали ли они работать на ханских землях при Сейид-Мухаммеде, — остается невыясненным. О насильственно переселенных на ханские земли крестьянах сообщает в 1873 г. Кун, из слов которого, между прочим, видно, что переселенцы эти находились в крайне тяжелом положении, уплачивая владельцу земли от двух пятых до половины всего

[1] Килевейн, цит. соч., стр. 108.

[2] Военный сборник, 1874, № 4, стр. 375.

[3] Особенно тяжелыми считались повинности по очистке так называемых ханских каналов, работы на которых проходили с большим напряжением. Зажиточная часть крестьянства стремилась от этих работ откупиться, выставляя за себя наемных рабочих и не останавливаясь перед уплатой по 6 и более тенег в день. Подробнее об этом см. цит. Журн. мануф. и торг., ч. II, стр. 119—121, 131, 145 и др. См. по этому поводу также цит. соч. Гиршфельда и Галкина, ч. II, стр. 52—53.

[4] Данилевский, цит. соч., стр. 137. О сдаче ханских поместий на откупа еще ранее упоминает Муравьев (цит. соч., стр. 81).

[5] Подобно Абулгази и авторам хивинских хроник, Муравьев сартами называет потомков первоначального оседлого населения Хивы, завоеванного в начале XVI в. узбеками.

[6] Муравьев, цит. соч., стр. 80.

урожая.[1] При оценке данного сообщения Куна необходимо, однако, иметь в виду те неясности, какими вообще отличается определение категории «ханских земель», даваемое этим автором (см. выше). Возможно, поэтому, что данное замечание Куна должно быть отнесено к той части населения, которая переселялась хивинским правительством на вновь орошенные земли, категории мемлеке-и-падшахи, а не на личные земли хана. Приведенные выше сведения, несмотря на свою неполноту, дают все же известное представление о тяжести того гнета, какой должны были выносить массы хивинского крестьянства, работавшего как на общегосударственных («падшалычных») землях, так и на ханских угодьях в рассматриваемое время.

Ко всему сказанному следует добавить, что ханские земли, как и вообще все орошаемые земли в Средней Азии, ежегодно требовали огромного количества труда для поддержания в исправном виде своей ирригационной системы, что также должно было ложиться тяжелым бременем на окружающее крестьянство, лишавшееся кроме того значительного количества воды для полива своих собственных скудных посевов. Крестьянские восстания, кипевшие в Хиве почти на всем протяжении XIX в., особенно среди туркмен, каракалпаков и других наиболее угнетенных национальностей, с достаточной убедительностью указывают на чрезвычайно тяжелое положение местного крестьянства.

Сложность существовавших на ханских землях производственных отношений еще более усиливается в связи с применением здесь труда рабов, преимущественно иранцев, о чем имеются вполне бесспорные свидетельства современников. Заметим попутно, что говоря о рабовладении, К. Маркс характеризует его, между прочим, как систему хозяйства, которая «проходит ряд ступеней от патриархальной системы, рассчитывающей преимущественно на собственное потребление, до собственно плантаторской системы, работающей на мировой рынок».[2] Одну из таких промежуточных ступеней занимало и рабовладение в Хиве. На важное значение труда рабов в сельском хозяйстве ханства указывают все путешественники, посещавшие Хиву вплоть до момента завоевания ее Россией в 1873 г., в том числе и те из них, которые описывают ханство в период управления им Сейид-Мухаммеда.[3]

[1] Туркест. ведом., 1873, № 32.

[2] К. Маркс. Капитал, т. III, ч. II, М.-Л., изд. 7-е, 1931, стр. 755.

[3] Литература и ряд сведений о рабовладении в Средней Азии вообще приведены в работе Н. И. Веселовского «Русские невольники в среднеазиатских ханствах» (Материалы для описания Хивинского похода 1873 г. Ташкент, 1881). Здесь мы останавливаемся только на тех данных, которые относятся к непосредственно интересующему нас периоду.

«В Бухаре, особенно же в Хиве,— говорит Вамбери (1863),— земледелием почти исключительно занимаются невольники, которых в одном только Хивинском ханстве насчитывается более 80 тыс. человек. Грубые нравы сделали меч необходимым спутником туземца, плуг же считается недостойным для них орудием и они передали его своим рабам».[1] Несмотря на несомненное преувеличение общей численности рабов в Хивинском ханстве, автор все же, повидимому, довольно верно определяет их значение в хозяйственной жизни страны. Подобная же оценка роли невольников встречается и у других, как более ранних, так и более поздних авторов. Так Н. Залесов, находившийся в составе русского посольства в Хиву в 1858 г., утверждает, что «персияне-рабы играют здесь весьма важную роль, и почти положительно можно сказать, что без этой посторонней помощи половина обработанных ныне земель ханства лежала бы в запустении».[2] Общую численность рабов в ханстве автор определяет в 10 тыс. человек. Социальная структура рабовладения отчасти вскрывается сообщениями русских невольников, возвратившихся из Хивы на родину, о том, что «многие в Хиве имеют по десять и более рабов» и что даже «посредственного состояния» хивинцы имеют по одному и по два раба».[3]

Что рабство в рассматриваемое время не носило бытового характера, а было связано с земледелием, видно также из слов Килевейна, который отмечает, что «они (невольники) живут на землях своих господ».[4]

Если рабский труд так широко применялся во всем ханстве, то не могли являться исключением, разумеется, и личные имения хана, тем более, что покупка рабов хивинскими ханами производились в весьма широ-

[1] А. Вамбери. Очерки Средней Азии. М., 1868, стр. 239. Эту же мысль Вамбери выражает и в более раннем своем «Путешествии по Средней Азии», СПб., 1865, стр. 163.

[2] Военный сборник, 1859, кн. 5, стр. 286.

[3] Журн. мануф. и торг., 1843, ч. II, кн. I, стр. 142. Один из позднейших путешественников, Хорошкин, сообщает, что число рабов у одного владельца доходило, по расспросным данным, до 150 человек (?). Общее число рабов в Хиве достигало, по тем же данным, 30—40 тыс. человек. Туркест. ведом., 1873, № 33.

Рассказывая о нашествии на Хиву Надир-шаха в 1740 г., Мунис, между прочим, сообщает следующее: Он (Надир) забрал здесь 4 тысячи нукеров и тысячу харваров зерна. В переводе на хивинские меры каждый харвар весит пять тысяч батманов. Рабы (в тексте бурдэ, собств. бардэ) также были отобраны. В числе (пострадавших) находился мой дед Шир-Мухаммед-мираб, сын Эшим-бия, у которого было отобрано тысяча батманов хлеба и 50 рабов — мужчин и женщин. Фирд.-икб., Е 6, л. 38б (внизу).

[4] Килевейн, цит. соч., стр. 107.

ких размерах, а в отношении невольников русского происхождения она иногда являлась даже особой регалией.[1]

На ряду с такого рода общими указаниями, имеются также и прямые свидетельства о применении труда рабов на ханских поместьях. В отношении первой половины XIX в. можно было бы сослаться, в частности, на рассказ одного из бывших хивинских невольников, Грушина,[2] а также на свидетельство Муравьева, говорящего о невольниках, «весьма рачительно» обрабатывающих ханские земли.[3]

Другой из невольников, уже упоминавшийся выше, Ковырзин, сообщает, что Мухаммед-Рахим-хан имеет большое количество пахотных земель, которые обрабатываются 500 его собственных невольников.[4]

Из слов других бывших хивинских пленных 30-х гг. также видно, что часть своих земель хан «распахивает собственными своими невольниками».[5] Что касается времени Сейид-Мухаммеда, то имеющиеся данные также вполне определенно указывают на участие рабов в обработке ханских поместий.

Так цитировавшийся уже Н. Залесов, описывая свое пребывание в ханском «саду» в Гендумкане в 1858 г., сообщает, между прочим, что «прислуга при саде состоит из десяти рабочих, живущих около дворца в небольших домиках; все они, так же как и главный садовник, из пленных персиян».[6] Не лишено значения в данном сообщении также упоминание о «главном садовнике» (подчеркнуто мной), под которым очевидно, следует понимать управляющего имением, фигуре довольно типичной для богатых хивинских поместий и отчасти тоже описанной в литературе на основании рассказа Ковырзина.[7]

Таким образом можно констатировать, что какого-либо единообразия в системе ведения хозяйства на ханских угодьях в Хиве не наблюдалось. Большая часть их, повидимому, сдавалась на условиях испольной аренды, некоторые из них обрабатывались, возможно, при помощи насильственно

1 Н. И. Веселовский. Русские невольники etc., стр. 5, прим. 1. Возникновение этой своеобразной регалии связано было, повидимому, с широким использованием русских невольников в военном деле.

2 В. Даль. Рассказ пленника Ф. Ф. Грушина. Литературн. прилож. к «Русск. инвалиду», 1878, № 5, стр. 84.

3 Муравьев, цит. соч., стр. 80.

4 Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches etc., Bd. II., S. 46.

5 Журн. мануф. и торг., цит. соч., стр. 148.

6 Военный сборник, 1859, кн. 5, стр. 275.

7 Beiträge zur Kenntniss etc., Bd. II, S. 36—37.

прикрепленных к ним крестьян и частично, наконец, эксплоатировались с помощью труда рабов.[1]

Из сказанного следует также, что если и можно говорить о крупном хозяйстве на ханских землях в Хиве, то, повидимому, только в отношении угодий последней группы, обработка которых являлась возможной при наличии у землевладельца собственного сельскохозяйственного инвентаря и соответствующего оборудования на территории поместий. На землях, сдававшихся издольщикам, всего этого, очевидно, не требовалось, так как крестьяне здесь работали собственным инвентарем и может быть получали от землевладельца-хана (или заменяющего его откупщика) только семена для посева.

* * *

В заключение необходимо отметить, что настоящая небольшая работа ни в какой степени не может претендовать на исчерпывающую характеристику ханского землевладения в Хиве даже на данном отрезке времени. В задачу автора входило лишь отметить сложность данной проблемы, а также указать на важность ее для знакомства с особенностями позднейшего среднеазиатского феодализма и, между прочим, подчеркнуть, что и нарративные источники при рассмотрении даже такого сравнительно узкого вопроса, как поставленный здесь вопрос о ханских землях, оказываются иногда не бесполезными и заслуживают поэтому внимания со стороны исследователей аграрного строя.

Исчерпывающая характеристика затронутого здесь вида феодального землевладения возможна, разумеется, лишь на основе изучения специальных аграрных документов, которых для Хивинского ханства данной эпохи до сих пор, к сожалению, не обнаружено.

---

[1] Одновременное использование на поместьях труда рабов и различных категорий зависимых и полузависимых крестьян — явление известное и в истории европейского аграрного строя. В частности из Книги страшного суда (Domesday Book) видно, что такого рода сочетание встречалось на мэнорах Глостерского монастыря в Англии в XIII в. См. Социальная история средневековья. Под ред. Е. А. Косминского и А. Д. Удальцова, т. II. Деревня и город позднего средневековья. М.—Л., 1927, стр. 77—78.

А. К. БОРОВКОВ

О некоторых очередных вопросах орфографии узбекского литературного языка[1]

I

Сравнительно в короткий срок в Узбекистане была проведена реформа письменности и освоен новый латинизированный алфавит. В 1926 г. новый алфавит был объявлен правительством Узбекской ССР государственным алфавитом. Через три года новый алфавит вытеснил существовавшую реформированную письменность на основе арабского алфавита.

На Самаркандской конференции по вопросам языка и орфографии 1929 г. были сформулированы, казалось бы, стабильные принципы орфографии и терминологии и намечены известные вехи развития узбекского литературного языка вообще.

Новый алфавит стал составной частью культурного строительства широчайшего размаха. Почти неграмотная в прошлом страна подошла вплотную к задаче полной ликвидации неграмотности. В 1933 г. в Узбекистане насчитывалось уже 65% грамотных.

Но вместе с тем, вскоре же совершенно ясно обнаружилось, что на практике решения Самаркандской конференции 1929 г. приводили все к большей и большей путанице как в области орфографии, так и в области терминологии.

Наконец, в 1932 г., в решениях пятого пленума ЦК Узбекской коммунистической партии было категорически указано на необходимость покончить с существовавшей орфографической анархией. Под этим лозунгом борьбы с орфографической анархией была проведена последняя реформа Узбекской орфографии.[2]

1 Выполнено по заданию ВЦК НА по материалам Узбекского комитета нового алфавита и терминологии.

2 См. Ьmla materiallarь, I. Taşkent, 1933. Adabi tl va imla toqrisida maqala, qararlar, II toplam, Taşk., 1934. Өzbek adabi tlinin, brlaşgan jan,i imla lajihasi, Taşk., 1933. Новый проект единой орфографии узбекского литер. языка, Ташкент, 1933.

Глубоко ошибается тот, кто думает, что реформа узбекской орфографии свелась только к сокращению гласных с девяти до шести. Значение реформы, и именно принципиальное, политическое значение, чрезвычайно велико.

Всем своим существом последняя орфографическая реформа направлена против реакционных, националистических по существу, тенденций Самаркандской орфографической конференции 1929 г. Вопросы орфографии нельзя рассматривать изолированно, вне связи с общей концепцией литературного языка. Не случайно развитие национальной по форме, социалистической по содержанию культуры, рост среднего и высшего образования, возросший уровень лингвистической культуры все с большей и большей очевидностью обнаруживали резкое противоречие задач культурного строительства и формул, выработанных Самаркандской конференцией в области литературного языка.

В свое время известная националистическая группа «Чагатайское общество» (Чагатай гурунги) поставила себе задачей «возрождение» антинародного, феодального, литературного чагатайского языка, символа «былого величия» чагатаидской государственности. Чагатаисты подняли на щит все «древнетурецкое», «истинно-чагатайское»; на писателях XV—XVI вв. они пытались создать образцы литературного языка, новой советско-интернациональной терминологии пытались противопоставить «терминологию» среднеазиатского средневековья.

Опираясь на реакционную пантуркистскую концепцию литературного языка, националисты исходили, с другой стороны, из некоего абстрактного единства языков тюркской системы, с такими общими свойствами, которые должен разделять и узбекский литературный язык, коль скоро он относится-де к системе тюркских языков. На этом основании, в частности, небезызвестный «железный закон сингармонизма» был положен в основу узбекской орфографии.

Совершенно независимо от того, что важнейшим узбекским диалектам явление сингармонизма несвойственно, сингармонизм в узбекском языке рассматривался как нечто само собою разумеющееся.

«Подобно тому как в каждом тюркском наречии, в нашем узбекском языке существует закон гармонии гласных. По этому закону приставки (суффиксы), присоединяемые к «твердым» слогам, бывают также «тверды», суффиксы, присоединяемые к «мягким» словам, «мягки». В языковедении этот закон называется законом сингармонизма... Таким образом, имея в виду, что наш старый литературный язык и большинство народных диалектов

являются сингармоническими, надо положить в основу диалект, сохранивший гармонию гласных, и наметить девять гласных».[1]

Подобного рода аргументация признавалась вполне достаточной, чтобы настаивать на введении девяти гласных.

С другой стороны, эти умонастроения стимулировали односторонние диалектологические исследования, тенденциозный интерес к сингармоническим говорам узбекского языка, хотя бы и отдельных селений, ибо в этих говорах хотели видеть «неиспорченные городской культурой» своего рода «основополагающие» говоры узбекского литературного языка.

В этом смысле чрезвычайно характерна также точка зрения бывшего, в свое время, научного авторитета сторонников «Чагатайского общества» проф. Фитрата, изложенная в его «Этимологии». «Наш язык, — писал проф. Фитрат, — является широким ответвлением тюркского языка. Основные законы тюркского языка несомненно свойственны и нашему языку. Подобно тому как и во всех ответвлениях тюркского языка, в нашем языке также, с точки зрения гармонии гласных, слова подразделяются на твердые (толстые) и мягкие (тонкие).

«Подобно тому, как мы встречаемся с вопросом гармонии гласных в старых писаных источниках, и среди степных жителей (dalada jaşaqanlar arasida) также в большинстве можно найти гармонию гласных. В испорченных под влиянием персидской литературы и семинарских руководств (madrasa taçvidi təciri bilən) городских говорах мы не видим этого, но вместе с этим нельзя сказать, что в нашем наречии нет гармонии гласных, твердости и мягкости».[2]

Под знаком этой реакционной, пантуркистской идеи велась практическая работа и в области орфографии и в области терминологии.

Выше говорилось, что вопросы орфографии нельзя рассматривать изолированно, вне связи с общей концепцией литературного языка. Это обстоятельство находит особенно убедительное подтверждение в практических результатах Самаркандской конференции 1929 г.

В самом деле, если внимательно присмотреться к решениям этой конференции, не трудно увидеть, что, по сути дела, эти решения являются результатом известного обходного маневра. Взгляды «Чагатайского общества», потерявшие всякий кредит в глазах советской общественности, уже невозможно было защищать открыто в 1929 г., и мы видим, что

[1] Э. Ələvi, Θzbek jəni əlifbesini tyzişdə asaslar, Taşk. -- Samark., 1926, стр. 5.

[2] Fitrat, ozbek tili qajidalari toqrisida Bir taçriba, birinci kitab, Sərf, Taşk., 1925, стр. 16, (فیترەت سەرف 3 نچی باسما تاشکەنت ۱۹۲۷ یل)

националисты, на словах выступая против «чагатаизма» и прикрываясь тогой демократизма, на деле защищали и проводили в жизнь те же националистские взгляды, ту же реакционную концепцию литературного языка.

Перед началом Самаркандской конференции в начавшейся дискуссии по вопросам языка Рамзи, тогда народный комиссар просвещения Узбекской республики, следующим образом охарактеризовал пути развития узбекского литературного языка:

«... Узбекский литературный язык развивается и нормизируется, идя по пути восстановления тех богатств, которые были у него до революции. Но в этой работе имеются и некоторые ненормальные отклонения.

В строительстве нашего литературного языка лежат следующие принципы:

a) Выбор одного из узбекских диалектов и превращение его в основу литературного языка. Какой это диалект? Это необходимо выяснить.

b) Заимствование некоторых нужных элементов из других диалектов.

c) Заимствование соответствующих элементов из узбекского языка эпохи Наваи, Лутфи, эпохи Фирузшаха, Камиль Хорезми, Умархана, Мукими, Фирката, а также эпохи джадидов.

d) Источники исследования материалов по народной литературе, литературе, написанной на старом узбекском языке, по современным диалектам.

e) В установлении основ узбекского литературного языка необходимо должен быть положен употребляющийся ныне и приобретший ныне некоторые установленные нормы литературный язык, несмотря на недостатки».[1]

Нельзя сказать, чтобы принципы, сформулированные Рамзи, отличались последовательностью. Предлагая установить ведущий диалект, он одновременно указывает, что в основу должен быть положен «употребляющийся ныне ... литературный язык» с поправками на элементы из диалектов и средневекового литературного языка. Этим самым Рамзи делает ставку на сохранение сингармонизма и средневековой литературной традиции в орфографии и терминологии, сознательно противопоставляя литературный язык языку масс, национальную ограниченность влиянию советско-интернациональной культуры.

Откровеннее об этой стороне концепции литературного языка говорил Бату. Высказывания Бату перед той же Самаркандской конференцией отчетливо обнаруживают скрытый смысл маневра националистов, боровшихся за свое влияние в области культуры.

[1] Mannan Ramzi. Muhim ilmi kanferensija aldidan, Qzil Ozbekistan, № 13, 1929. То же. Вопросы языка и орфографии. Самарканд—Ташкент, 1929 (на узб. яз.), стр. 146.

«В деле строительства нашего языка и орфографии, — писал Бату, — нам необходимо воспользоваться и нашим опытом. Не невозможно повторение прошлых ошибок, если мы не обратим внимания на причины прежних ошибок. Нельзя сказать, что у нас нет необходимости и в использовании уроков „Чагатайского общества“ („Чагатай гурунги“), сослужившего большую службу для строительства нашего языка и орфографии.

„Является ли сингармонизм „железным законом“ узбекского языка? Необходимо ли обязаны подчиняться все заимствованные (иностранные) слова, вошедшие в употребление у узбекского народа, этому железному закону?

«Отвечающие на эти вопросы, — продолжает Бату, — у нас делятся в основном на две группы: „железнозаконников“ и „умеренных сингармонистов“.

«Железнозаконники говорят: „сингармонизм является душою, нерушимым, железным курганом узбекского литературного языка. Противники сингармонизма желают низвергнуть узбекский литературный язык, или не понимают будущей роли этого языка“. Это громадное отступление. Разговоры о том, что без сингармонизма узбекский язык останется без души и погибнет, показывают неосведомленность об истории языка и законах его развития.

«Железнозаконники говорят: — „иностранные слова, имеющиеся в узбекском языке, пусть будут изменены в согласии с нашим законом сингармонизма. Чтобы жить в нашем языке пусть они приобретут наш паспорт“».

«Чагатайское общество» имело эту же тенденцию. Сторонники «Чагатай гурунги» говорили: «Арабские и персидские слова, не подчиняющиеся нашим законам, пусть будут выброшены из нашего языка, мы вместо „*aləm*“[1] возьмем „*acun*“.[2] Но такие слова, как *uoȷan, ezim, coꞑ, acun* и т. п., сторонников «Чагатайского общества» не проникли в узбекский литературный язык, также не пройдут в узбекский литературный язык и «*oȷьldьraq*» *çəvəbgər*» и т. п. «железнозаконников».[3]

Настаивая на «умеренном сингармонизме», Бату в этой же статье заявляет о том, что девять гласных недостаточно для выражения целого ряда слов. Вместе с тем националисты отчетливо представляли себе, что их концепция литературного языка несовместима с действительно народным

[1] Арабское «мир».

[2] Древнетурецкое, чагат. «мир».

[3] Batu. Til va imla toƣrisida bir neca soz, Qiz. Ozbekstan, № 42, 1928. То же. Вопросы языка и орфографии (на узб. яз.). Ташкент—Самарканд, 1929, стр. 112.

литературным языком, что она идет вразрез с насущными требованиями культурного подъема масс.

Тот же Бату[1] писал тогда же, перед Самаркандской конференцией: «Ряд лет практики показали нам, что нынешние девять гласных для масс представляют трудности. Разумеется это не в такой же мере трудно для класса просвещенных и образованных людей. Но ведь мы и не говорим, что язык и орфография являются монополией этого класса, после этого придет время для того, чтобы считаться с массами».

И вот под знаком этих тенденций прошла Самаркандская конференция 1929 г. Результаты этой конференции не замедлили сказаться на практике. Орфографическая анархия уже через год заставила внести ряд поправок в решения конференции, а затем и вовсе отказаться от них.

Основным источником анархии в орфографии явились, несомненно, правила о сингармонистическом принципе орфографии и подчинении орфографии заимствованных слов и советско-интернациональных терминов девятигласному фонетическому укладу. Решения конференции 1929 г. гласили: «Твердость и мягкость сохраняется в орфографии узбекских слов (§ 2). Вошедшие прежде в узбекский язык и освоенные заимствованные слова пишутся в согласии с правилами нашей орфографии (§ 14). Русские и европейские слова пишутся нашими буквами и в соответствии с природой нашей орфографии, но так чтобы не изменять их основную форму (§ 15). Русские и европейские слова пишутся в согласии с правилами слогообразования в нашем языке. В начале слова перед стечением согласных или между ними в согласии с произношением, они разделяются гласными: *u*, *ъ*, *y*, *i*: *iskəf*, *ystyl*, *pyryletər*, *kyryzøk* и пр. (§ 23). Русские и европейские *k* и *g* пишутся через наши *k* и *g*, напр. *kømmynist*, *gvərdijə*. Заимствованные (иностранные) слова с *k* и *g* суть мягкие (*inicka*), и пишутся с мягкими гласными» (§ 18).[2]

Приведенных решений Самаркандской Конференции достаточно, чтобы составить себе представление о размерах той орфографической анархии, которая последовала за этими решениями. Надо напомнить, что девятигласный уклад был положительно навязан трудящимся Узбекистана передовых районов и городских центров.[3]

[1] Batu. Til va imla masalasi ustida bir neca soz «Alanga» № 12, 1928 (на реформ. арабск. алф.). То же. Вопросы языка и орфографии . . ., стр. 143.

[2] 1929 — nci jъl maj ajъda Samarqand şəhərid bolqan til-ъmla konferensijasinin, ъmla toqrъsъdaqъ qararъ. См. ъmla materiallarъ, Taşk., 1933, стр. 34—37.

[3] Проф. С. Д. Поливанов. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. Узгосиздат, Ташкент, 1933, стр. 10—25.

О размерах орфографической анархии, особенно в правописании советско-интернациональных терминов, говорят такие факты: обследования в школах показали, что напр. слово «Кремль» писалось в 17 различных вариантах, *mucafьq* в 15 вариантах; учащиеся школы им. Энгельса «Энгельс» написали в диктанте в 15 вариантах. Самые, казалось бы, употребительные термины писались различным образом, напр. «пролетарий» — *pyrylctər*, *praletar*, *pyrolitor*, *pirəletər* и т. д.

Это, так сказать, внешняя сторона явления, суть же орфографической анархии заключалась в том, что не было никакого критерия правильности в правописании. С точки зрения существовавших правил, пожалуй, нельзя было указать какое из 17 написаний слова «Кремль» является единственно верным.

Шаг за шагом преодолевались традиции 1929 г. После ряда эпизодических коррективов в орфографии, в 1932 г., вслед за решением пятого пленума Центрального Комитета компартии Узбекистана о ликвидации орфографической анархии, произошел решительный поворот в борьбе с орфографической анархией, традициями 1929 г. В начале следующего, 1933 г., в Москве, на совещании московских и ленинградских лингвистов совместно с Узбекской делегацией был рассмотрен проект новой узбекской орфографии, в котором было предусмотрено сокращение гласных до шести.

Новый проект орфографии был утвержден Правительством Узбекистана 13 марта 1934 г.

Реформа узбекской орфографии была подготовлена всем ходом исторического развития.

Завершение реконструктивного периода, вступление в период социализма, окончание первого пятилетнего плана и широкое строительство на основе второго пятилетнего плана, — за небольшой отрезок времени совершенно преобразили и экономический и культурный облик Узбекистана.

Развитие культуры и рост образования сопровождали огромное хозяйственное строительство. Попытки националистов влить свое содержание в национальную культуру, попытки противопоставить националистическую, буржуазную культуру советско-интернациональной, социалистической, оказались обреченными, ибо за националистами не стояли массы, ибо националисты сами не рассчитывали на массы «...придет время для того, чтобы считаться с массами» самоуверенно заявлял Бату и вкупе с единомышленниками сознательно ставил себе задачей в области литературного языка, в частности, отчуждение литературного языка от языка масс в угоду националистической, пантуркистской схемы.

Суть последней орфографической реформы, следовательно, в том, что эта реформа окончательно покончила со старыми, националистическими по своему содержанию, тенденциями, с буржуазно-националистическим пуризмом в создании современного узбекского литературного языка.

Иной точки зрения в этом вопросе не может быть. Приходится удивляться тому обстоятельству, что среди работников, принимавших самое деятельное участие в реформе орфографии, могла возникнуть мысль о каком-то особом процессе в развитии самого литературного узбекского языка, который (процесс) привел будто бы логически к необходимости новой орфографической реформы.

Я имел при этом в виду следующее суждение по поводу реформы: «Резко изменилась тенденция развития узбекского языка по линии наибольшего изживания сингармонизма. В связи с проникновением и усвоением интернациональных слов возникли и возникают новые звукосочетания, слогообразования, новые окончания (*izm*, *ik* и др.), происходят изменения в составе гласных в сторону их сокращения (ө, ь, у) и т. п.».[1]

Само собою разумеется, нет никаких научных оснований говорить о каком-то процессе «изживания сингармонизма» и «изменений в составе гласных» в современном литературном узбекском языке, ибо ведущие диалекты узбекского языка характеризуются именно отсутствием сингармонизма и девятигласный уклад был навязан литературному языку из известных нам уже соображений.

Вопросы орфографии неотделимы от общей концепции литературного языка; это обстоятельство совершенно очевидно. Самым значительным и знаменательным с этой точки зрения, с точки зрения учета опыта языкового строительства в Узбекистане вообще, является тот несомненный факт, что ныне мы подошли здесь к правильному пониманию и разрешению проблемы литературного языка и, естественно, орфографических и терминологических вопросов.

За последние годы значительно выросла лингвистическая культура в Узбекистане. Это нашло свое отражение в первую очередь в огромном росте фактических знаний об узбекских диалектах, их территориальных границах и взаимоотношении; вопрос о классификации диалектов поставлен на реальной научной основе. Таким образом и отношение диалектов к лите-

[1] А. Хашимов. О новом узбекском литературном языке и его орфографии. См. Наука и Техника № 2—3, Ташкент, 1933, стр. 29.

ратурному языку представляется ныне в свете научных данных, а не абстрактных разговоров, как это было пять-шесть лет тому назад.

К вопросам языка было привлечено большое внимание и сосредоточены значительные силы в центральных научно-исследовательских организациях. В ходе подготовки к орфографической реформе были объединены руководящие организации — Комитет нового алфавита и Терминологическая комиссия. В результате объединения значительно расширилась база лингвистической работы и научно-исследовательский охват проблем языка. В свое время организованный Центральный комитет нового алфавита и терминологии выпустил обращение ко «всем советско-общественным организациям и отдельным трудящимся», где, между прочим, акцентирован этот момент.

«В виду предстоящей в Узбекистане большой научной работы в области языковой культуры, — говорится в обращении, — решением директивных органов ЦК нового алфавита при Узб. ЦИКе, с присоединением к нему Узгостерминкома[1] при Наркомпросе, реорганизован в Центральный комитет нового алфавита и терминологии (ЦК НАТУ) при Президиуме ЦИК Советов Узб. ССР.

При ЦК НАТУ организованы отделы, ведущие плановую работу по вопросам алфавита, орфографии, терминологии и литературного языка национальностей Узбекистана» и т. д.

Комитетом нового алфавита и терминологии проделана значительная работа. За 1934 г. издано большое количество материалов по вопросам орфографии и терминологии, была развернута энергичная работа по составлению отраслевых терминологических словарей и различного рода справочников.[2]

В связи с этим необходимо поставить появление учебников по родному языку для средней школы; это чрезвычайно крупное достижение, поскольку учебники значительно расширяют образовательное значение родного языка, создают, так сказать, культуру литературного языка.[3]

Вышедшие учебники не свободны от ошибок. Целый ряд вещей требует коррективов в трактовке ряда грамматических категорий,

[1] Узбекская государственная терминологическая комиссия.

[2] Ьmla materiallarь, Taşk. 1933. Adabi tl va ьmla toqrisida maqala, qararlar, II topl., 2-nci serija, Taşk. 1934. То же — II topl. — 3-nci serija, Taşk. 1934. Elbek. Ozbekcə şəkldaş sozlə luşqatь, Taşk., 1934. Өrbekcə-rusca işjyrytyş terminlarь sozligi, Taşk — Qazan 1934. Rusca-ozbekcə işjyrytyş termin larь soz ligi. Taşk.—Baku, 1933 и др.

[3] M. Şəmsijef. Şerbek, — ozbek tili grammotikasi. Task., 1932. X. Qajjumь, J. Dalьmov. Grammatika, I bөlym, Sərf. Taşk., 1934. N. Səid və J. Joldaşьf. Grəmmətike, II qьsm, Nəhv. Taşk., 1933.

несколько случайна и не разработана грамматическая терминология. Но факт остается фактом — учебники создают систему, создают основу дальнейшего развития литературного языка, устной литературной речи.

Ошибки в учебниках вызваны большей частью или некритическим использованием общей лингвистической литературы и учебников русского языка, или неразработанностью того или иного вопроса узбекской грамматики.

Так, в учебнике X. Qajjumii и S. Dalimov'а явно ошибочно трактуется вопрос о делении согласных: «...согласные звуки произносятся или твердо, или мягко. Поэтому в одном слове согласный звук, произносящийся твердо, в другом слове может произноситься мягко. Например: при произношении jaz звуки *z*, *j* суть твердые, в слове *jyrgiz* звуки *z*, *j* суть мягкие. Иными словами, звуки разделяются один от другого и с точки зрения твердости и мягкости. Разница между твердыми и мягкими согласными заключается в следующем: при произношении мягких звуков, спинка языка (середина языка) не приподнимается к нёбу, при произношении же твердых звуков спинка языка слегка приподнимается.

Например, при произношении *t* и мягкого *t* язык продвигается вперед, кончик языка касается зубов, но при произношении мягкого *t* по сравнению с твердым *t* язык продвигается несколько более вперед, кончик языка опускается ниже».

Это рассуждение, разумеется, является явным недоразумением. В узбекском языке деление согласных на твердые и мягкие не имеет никакого фонематического значения и целиком заимствовано авторами учебника, по всей вероятности, из учебника русского языка, где твердость и мягкость согласных имеет принципиальное, фонематическое значение: пыл, пыль, кон, конь, банка, банька, молот, молоть и т. п.

К такого же рода ошибкам надо отнести трактовку вопроса о логическом ударении в узбекском языке. Авторы учебника утверждают следующее: «при произношении в речи говорящий выделяет, придает большее значение одной части предложения, одному слову, привлекает внимание слушающего к этому слову. В сравнении с другими частями (словами) предложения слово, которому придается значение, он произносит громче, с большим усилением голоса. Например: ...*a j a l l a r* *paxtanь terjəpti*... *ajallar* *paxtanь* *t e r j ə p t i*... *ajallar* *p a x t a n ь* *terjəpti*...

Очевидно, что в ответах на три различного типа вопроса тут дается толкование при помощи одного только предложения. Несмотря на это, произношение каждого из этих предложений отлично. Более подчеркнутое,

громкое произношение одной части (одного члена) предложения для выражения значения называется логическим ударением».[1]

Это опять-таки очевидное недоразумение, ибо логическое ударение в этом смысле в узбекском языке отсутствует. Произношением немыслимо выделить в узбекском языке слово с так называемым логическим ударением. «Логическое ударение» в узбекском языке выражается синтаксическими средствами, инверсией.

В общих чертах это правило можно формулировать следующим образом: «так называемое логическое ударение в узбекском языке падает на тот член предложения, который стоит непосредственно перед сказуемым (при обычном порядке, — прямое дополнение), всякое отклонение от обычного (повествовательного) порядка слов в предложении ведет к изменению его логического акцента, например: *Ajallar paxtani terjapti*—женщины хлопок собирают; *paxtani ajallar terjapti*—хлопок женщины собирают, возможно и *ajallar terjapti paxtani*—женщины собирают хлопок и т. п.

Только в сочетании с инверсией возможно участие произношения в логическом подчеркивании того или иного члена предложения.

Неудовлетворителен раздел о прилагательных, кстати сказать, один из труднейших разделов морфологии, коль скоро вопрос о прилагательных совершенно не разработан вообще.

В категорию прилагательных авторы учебника произвольно включили имена на — *daș* (*joldaș*), имена уподобления с аффиксом — *dak-daj* типа *Kolxozdaj*, *bulutdak*, равно как и наречия, соответствующие сложным наречиям в русском с предлогом «по» — типа *rusca*, *janica*, *bolșeviklarca* и т. п.

Недостатком в этом смысле является и то, что в учебнике не разграничено деление прилагательных и наречий с точки зрения синтаксического употребления тех и других.

Можно было значительно увеличить замечания такого рода по существу отдельных вопросов и морфологии и синтаксиса. Замечания эти отнюдь не умаляют огромного значения самого факта появления учебников для средних школ. Факт остается фактом — новые открытия в области изучения узбекского языка, а это можно распространить и на десятки национальных языков нашего Союза, — идут сейчас именно по линии учебников. Наша лингвистическая наука далеко отстала от жизни в деле изучения национальных языков, специалисты едва успевают следить за литературой и успехами практических работников.

[1] X. Qajjumьь. S. Dalьmov. Grammatika, стр. . . то же M. Șəmsijef, Șerbek, Ozbek tili grammətikəsi, стр. 42.

Самое главное, самое существенное на данном этапе заключается в общем росте лингвистической культуры, в уяснении общей концепции литературного языка, понимании образовательного значения литературного языка и взаимоотношения его с диалектами, в уяснении общей линии дальнейшего развития современного узбекского литературного языка.

Можно сказать с полной уверенностью, что исторически и логически мы подошли сейчас к решению этих проблем. Наибольшего внимания с этой точки зрения заслуживает опыт Узбекистана в разрешении орфографической и терминологической проблемы.

II. ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Правильное разрешение орфографической проблемы в национальных республиках и областях в той мере, в какой образование национального литературного языка протекает на новой основе, в той мере, в какой на смену традиционному феодальному литературному языку, далекому от живой речи, появляется литературный язык, покоящийся на живой речи трудящихся, в первую очередь встает вопрос о диалектах и едином литературном произношении.

В Узбекистане до Октябрьской революции слишком незначительной была роль «койнэ» — общего литературного произношения и узок его социальный круг распространения, ибо процесс образования наций не был возможен под эгидой царского деспотизма и местной буржуазии. Только после Октябрьской революции Советские национальные республики «. . , развиваются и консолидируются, как нации, не под эгидой буржуазных порядков, а под эгидой советской власти».[1]

Тов. Сталин, указывая на огромное значение национального размежевания в Туркестане, особо отметил этот факт на примере Туркменистана и Узбекистана: «В эпоху дореволюционную обе эти страны были разорваны на куски по различным ханствам и государствам, представляя удобное поле для эксплоататорских махинаций „власть имущих“. Теперь настал момент, когда появилась возможность воссоединить эти разорванные куски в независимые государства для того, чтобы сблизить и спаять трудящиеся массы Узбекистана и Туркменистана с органами власти».[2]

Таким образом, основной проблемой развития нового узбекского литературного языка является, с самого начала, проблема взаимоотношения литературного языка с диалектами.

[1] И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 9-е, Партиздат, 1932, стр. 135.

[2] Там же, стр. 136.

Сложность этой проблемы усугублялась много-диалектной природой узбекского языка, наличием массы диалектов от сингармонистических «джокающих» или «кыпчакских» диалектов с девятигласным укладом, до несингармонистических городских диалектов с шестигласным укладом, с рядом промежуточных между ними.

От разрешения этой проблемы зависит направление развития национального литературного языка.

«Чагатаисты» стремились к сохранению старой литературной традиции, их противники подчас из того же националистического лагеря противопоставляли «чагатаизму» абстрактный «общетурецкий» сингармонизм и всячески преувеличивали значение сингармонистических узбекских говоров, поднимая на щит «настоящие» узбекские говоры удаленных от экономических и культурных центров степных районов, как это делали пресловутые «джокчи» и «кыпчакисты».

Мощный подъем культуры и возросшее образовательное значение литературного языка вплотную подвели к разрешению проблемы взаимодействия литературного узбекского языка и его диалектов и вместе с тем к разрешению орфографической проблемы.

Накопленный опыт убеждает нас в справедливости того факта, что «общих элементов в диалектах больше, чем особенностей, отличных в каждом».[1] Отсюда вытекает следующая формула решения орфографической проблемы, которая нашла свое отражение в последней реформе:

«Наша основная задача заключается в выделении тех элементов, законов, правил, которые являются общими всем узбекским говорам, имея в виду при этом р е ш а ю щ у ю р о л ь в е д у щ и х г о р о д с к и х г о в о р о в, в построении на этих общих законах, правилах узбекской орфографии и внесении прогрессивных элементов из других говоров в литературный язык (как, напр., форма будущего времени в хорезмском говоре) и в его орфографию».[2]

Формула эта нуждается, разумеется, в известных оговорках, именно в том смысле, что все возрастающее образовательное значение узбекского литературного языка становится ведущей стороной его развития. Ассимиляция диалектов будет происходить на базе единого литературного языка и единого литературного произношения, диалекты в этих условиях будут

[1] А. Хашимов. О новом узбекском языке и его орфографии. Соц. Наука и Техника, вып. 2—3, Ташкент, 1933, стр. 36.

[2] Там же, стр. 37.

играть подчиненную роль и все более возрастать нормативное значение литературной речи.

Новая узбекская орфография, декретированная 13 марта 1934 г., насчитывает один год практического употребления. Несмотря на такой незначительный срок новая орфография завоевала прочные позиции в печати и школе.

Само собою разумеется, что принятая орфография не раз и не два потребует коррективов, дополнений и новых формулировок утвержденных орфографических правил, вместе с общим ходом развития литературного языка; это неизбежный процесс нормизации литературного языка, но, вместе с тем, новая реформа не дает возможности предполагать о новом издании орфографической анархии. В основном принятая орфография не оставляет места для недоразумений.

Однако в ряде случаев необходимо оговорить отдельные орфографические правила и внести окончательную ясность в формулировках.

Отдельно необходимо оговорить вопрос о факультативном гласном ә, который по принятым правилам обозначается в письме лишь в тех случаях, когда возможно фонематическое различие *a* и *ә* в однозвучных словах типа *bəs-bas*, *anə-ana* и т. п.[1] Вопрос этот требует дополнительного доследования и говорить о нем заставляют наблюдения над районной печатью. В процессе внедрения новой орфографии самым устойчивым из гласных, упраздненных реформой (*ө*, *y*, *ъ*), оказался именно *ә*, тогда как гласные переднего ряда девятигласного уклада *ө*, *y* и задний *ъ*, напротив, оказались чрезвычайно неустойчивыми.

Устойчивость гласного *ә* объясняется фонематической природой самого гласного, его фонематическим различием параллельно гласному *a*; это легко обнаруживается из практики районной печати, где ясно видно, что стойкость гласного *ә* проистекает именно из указанного обстоятельства, как об этом говорят зарегистрированные примеры: *hər*, *həm*, *esə*, *kuclər jerləridən*, *əkə*, *otkən*, *korsətgən*, *bilən*, *ozigə*, *işigə*, *brigədə*, *prəvlenijə*, *əktif* и т. д.

Эта сторона дела, следовательно, требует доработки.

Наиболее принципиальным и спорным является вопрос о правописании краткого *i* в первом слоге. Ход обсуждения этого вопроса и принятая в существующей орфографии формулировка заставляют предполагать, что здесь возможны всяческие недоразумения в практике правописания.

Уже в ходе обсуждения вопроса о правописании краткого *i* обнаружились противоречия в самом понимании вопроса.

[1] Ozbek tilinin birlaşgan imlasi toqrisida, Taşk., 1934, стр. 11.

В первоначальном проекте новой единой орфографии узбекского литературного языка соответствующий параграф был сформулирован следующим образом: «В современном узбекском языке, в слогах, не имеющих ударения, в особенности между двух согласных в начале слова узкий „*i*" не имеет семантического значения. Поэтому в орфографии данный вопрос ставится в общей форме и в первых слогах (в слогах с ударением или без ударения, в открытом или закрытом слоге — безразлично) между двух согласных „*i*" не пишется. Однако в тех случаях, когда он является начальным звуком слова или не потерял своего семантического значения „*i*" сохраняется. Например: *braq*, *blim*, *qliq*, *qsqa*, *sra*, *tl*, *tlim*, *pşiq*, *pcaq*, *blindi*, *bldirmadi*, *blintirmadi*; *iş*, *işci*, *inaq*, *isiq*, *isitiia*, *Israil*...[1]

Исходя отсюда, проект предлагал «нормы построения слогов», в том числе и из двух согласных: *bl*, *sl* и трех согласных типа: *tnc*, *snc* и т. д. На ряду с этим в проекте был выделен вопрос о правописании долгого «*i*».

Долгий *i* в первом слоге сохраняется, однако он пишется только через *i*, а не в комплексной форме (*ij*), напр., *qima* (а не *qijma*), *ciran* (а не *cijran*), *kino* (а не *kijno*)... вместо всех ранее существовавших[2] в узбекской орфографии долгих гласных *ij*, *ij* (*ij*, *skij*) пишется только *i*.[3]

Как это ни странно, орфографическое правило базируется в данном случае не на реальных условиях редукции и оглушения краткого *i* в неударном слоге и фонематическом различении — *i* краткое, *i* долгое, на котором настаивает проект, а на известной сентенции об утере гласным «*i*» «семантического значения».

Не трудно обнаружить и источник ошибочных взглядов по вопросу о правописании краткого *i*. Авторам проекта хотелось решить этим одновременно вопрос и о правописании советско-интернациональных терминов с двумя и т. д. согласными в первом слоге и, таким образом, «узаконить» стечение согласных в первом слоге и в узбекском языке, хотя в обоих случаях фонетические условия абсолютно различны.

С одной стороны, в подтверждение соответствующего правила указывалось на якобы объективный процесс исчезновения краткого «*i*» в узбекском языке: «...в односложных словах гласная, соединяющая две соглас-

[1] Новый проект единой орфографии узбекского литературного языка. Ташкент, 1933, § 16, 17, стр. 12—13, Ozbek adabi tilinin brlaşgan jani imla lajihasi, Taşk., 1933, стр. 11.

[2] В русском переводе не точно передана и несколько искажена формулировка данного параграфа (17-го) в оригинале: «Долгое» *i* в первых слогах пишется, но только не в форме сочетания и т. д.

[3] Новый проект единой орфографии, стр. 13.

ных, постепенно исчезает (*bil*, *dil* и др.). Этот процесс усилился с усвоением интернациональных слов *front*, *flot*, *frank*, *trest*».[1]

С другой стороны, мотивация этого правила базировалась именно на обобщении правил правописания краткого *i* в узбекском языке и советско-интернациональных терминов с начальными неслоговыми согласными. Сошлемся на Ш. Рахими, который пишет к истории вопроса: «Конференция 1929 г. вынесла неправильное решение о правописании русских и европейских слов с начальными неслоговыми согласными в соответствии с слогообразованием в узбекском языке. Совещание при УзГНИ в 1930 г. вынесло противоположное решение, но и в первом и во втором решении мы находим недостатки в силу того, что они не дают ответа на вопрос «как пишутся иностранные слова?» и не распространяют этого правила на собственно узбекские слова. Бригада УзТерминкома в 1932 г. выправила эти недостатки. Бригада рассмотрела этот вопрос, как общий. Подобно тому как и в иностранных словах, и в узбекских словах возможно стечение двух согласных в начале слова, и во всех случаях между ними нет надобности писать краткий гласный: *blim*, *tlak*, *blan* и т. д.

Январское совещание 1933 г. в Москве решило также, что: «В узбекском языке в нынешнем его положении необходимо орфографически узаконить факт наличия двух согласных в начале слова».[2]

Ясно, что подобного рода мотивация является неверной в научном отношении, ибо подменяет вопрос об условиях редукции и оглушения неударенного, краткого *i* в узбекском языке соображениями о правописании начальных неслоговых согласных, не свойственных узбекскому языку. Это обстоятельство является тем самым источником орфографических недоразумений на практике.

Существо дела заключается в том, что в ряде говоров, в ташкентском в первую очередь, сверхкраткий узкий *i* характеризуется неустойчивостью и способностью к оглушению и редукции в положении между глухими согласными в неударенном слоге. В ташкентском говоре возможна полная редукция сверхкраткого *i* даже в ударенном слоге, именно как результат редукции неустойчивого краткого узкого гласного, напр. *cş* (*tş*,) *br* и пр. В «сингармонистических» говорах и в самаркандском краткий узкий *i* обладает большей устойчивостью и отличается количественно и качественно от изменчивого *i* ташкентского типа.[3]

[1] А. Хашимов. О новом узбекском языке и его орфографии. Соц. наука и техника, вып. 2—3, Ташкент, 1933, стр. 35.

[2] Ƅɯla materiallarь, I, Taşk., 1933, стр. 8.

[3] Ср. Е. Д. Поливанов, Образцы несингармонистических говоров узбекского языка. Докл. Акад. Наук, № 14, 1928, стр. 308—309.

С точки зрения конкретно данных условий произношения краткого *i* и следует, разумеется, мотивировать соответствующее орфографическое правило о правописании *i*. Вопрос о стечении неслоговых согласных в начале и конце слова есть вопрос иного порядка и подлежит отдельному рассмотрению в орфографии.

В принятой ныне орфографии вопрос о правописании краткого *i* подвергся некоторому пересмотру и трактуется с точки зрения слогообразования и слогоделения и, отчасти, некоторых морфологических признаков аффиксации в узбекском языке. Соответствующее правило гласит: «В нашем языке невозможны слоги без гласных звуков. В нашем языке возможно стечение двух согласных, при присоединении приставок, корень (слова) не должен оставаться без гласного звука: *braq*, *blan*, *tla*, *tlak*, *tladi*, *sna*, *snaq*, *snadi*, *snajdi*, *blal*, *sraç*, *bradar*, *qtiq*, *qtiqlamaq*, *tra*, *trak*, *tradi*, *sla*, *sladi*, *slamajman*, *zrak*, *zoqir*, *zoqirdaj*, *cniq*, *cniqqan*, *cniqadi*, *cniqsa*, *traktor*, *proletar*, *qjinciliq*, *gvardija*, *Stalin*, и т. п. Но в словах типа *qilaman*, *bilaman* *i* начального слога не опускается в письме. Хотя слоги подобного типа по своему строению представляются одинаковыми со всеми (приведенными выше) правилами (слогообразования), но при опущении приставок корни могут оказаться без гласного (*bl*, *bladi* и т. п.). В силу этого такие слова во всех случаях пишутся с *i* (*qil*, *bil*, *qilaman*, *bilaman* и т. д.).[1]

Не трудно убедиться в том, что и в данном случае формулировка орфографического правила не решает вопроса о правописании краткого *i*, напротив того, введенный морфологический критерий затрудняет орфографические навыки, создавая новые предпосылки ошибочных написаний слов с кратким *i*.

Практические результаты еще более ярко свидетельствуют о неубедительности принятых орфографических правил о правописании *i*. В орфографическом словаре Узтерминкома, который напечатан ныне,[2] как правило *i* в первом слоге опущен: *hlal*, *Hmalaj taoqlari*, *hmaja*, *hça*, *hçab*, *hsab*, *qsqa*, *cziq*, *cda*, *cdam*, *cdamli*, *cldirma*, *clgi*, *clvircan*, *cnakcilik*, *cpqan*, *crkin*, *cdaş*, *cdaşiş*, *gjin*, *vlajat*, *hkaja* и т. п. В республиканской газете «*Qzil Ozbekstan*» точно так же гласный *i* в первом слоге, как правило, опускается: *nşan*, *Nşanov*, *Crciq*, *Sjasat*, *çnajat*, *çnajatcilar* и т. п. не всегда последовательно, правда, ибо сплошь и рядом можно найти написания и с *i* типа *Circiq*, *birinci* и т. д., но всегда без учета установленных правилом морфологиче-

[1] Ozbek tilinian birlasgani imlasi toqrisida, Taşkent, 1934, § 8, стр. 15—16.

[2] См. S. Ibrahim, M. Rahman, A. T. Xoçaxanov va Ş. Rahimi, Ozbek tilinig imla luqati, Taşkent—Samarqand, 1935.

ских границ и границ слогообразования, напр.: *nşan*, *Nşanov*, *blamiz*, *blaman*, *qlamiz* и т. п. Характерно, что в газете правило о правописании краткого *i* естественно распространяется на *i* и не в первом слоге и на редуцированный неударный *e*, который в результате сужения и редукции рассматривается как краткий *i*, напр. *adl*, *adllik*, *ajb*, *Engls*, *Intrnasional*, *tapşra* и т. п.

В областной и районной печати, насколько это удалось проследить по газетам: «Kolxoz joli», «Bolşevik joli», «Paxta fronti», «Bolşevik kolxozlari ucun», «Buxara proletari», «Zarbdar», «Inqlab qujaşi», в смысле реализации правила о кратком *i* царствует разнобой полнейший, в одном столбце сплошь и рядом можно встретить два различных написания одного слова и с кратким *i* и без *i*: *hisabat*, *har biriga*, *bilan*, *qiliş*, *qişlaq*, *sifat* и *hsabat*, *blan*, *qliş*, *qşlaq* и т. д.

Отсюда можно заключить, что соответствующее правило требует пересмотра.

Правило о правописании краткого *i* обосновывается принципами слогообразования и слогоделения в узбекском языке без всякого учета того простого факта, что этим правилом нарушаются основы слогоделения в узбекском языке. В самом деле, коль скоро правило основано на декретировании возможности стечения согласных в начале слога, тем самым признается, что согласный с кратким *i* не образует слога, двусложные слова: *hĭ-sab*, *qĭs-qa*, *cĭ-da*, *cĭl-dĭr*, *cĭl-gi*, *cĭ-daş*, *cĭ-dam*, *cĭ-ran* превращаются в односложные: *hsab*, *qsqa*, *cda*, *cldir*, *clgi*, *cdaş*, *cdam*, *cran* и т. д. независимо от того, что это противоречит основам слогоделения в узбекском языке. Преподаватель родного языка должен особо объяснить школьникам, что понятие с л о г а в узбекском языке отлично от общепринятого в языковедении и что, напр., слово *qsqart* — о д н о с л о ж н о только в силу особенностей узбекской орфографии и т. д.

Резюмируя сказанное, необходимо сказать, что в принятой узбекской орфографии правило о правописании краткого *i* требует пересмотра, ибо оно противоречит фонематическим принципам письма и является источником недоразумений.

Краткое *i* должно обозначаться в письме с соответствующими разъяснениями о природе этого звука, комбинаторных вариантов его произношения, условиях оглушения и редукции, имея в виду при этом и устойчивый характер краткого *i* в ряде узбекских диалектов. Вопрос же о правописании заимствованных слов и советско-интернациональных терминов с начальными неслоговыми согласными необходимо выделить в орфографии особо.

Вообще необходимо признать, что в принятой узбекской орфографии вопросам правописания заимствованных слов и советско-интернациональных терминов уделено слишком мало внимания. Шесть соответствующих параграфов (24—30) не разъясняют существа дела и в достаточной мере не обоснованы.

Решение о правописании краткого *i* вовсе не снимает вопроса о стечении неслоговых согласных в одном слоге и до сего дня остается «больным» местом узбекского правописания. В практике неслоговые согласные разделяются, вслед за произношением, гласным: *birgadir* — бригадир; *konkuret* — конкретный; *administiratsija* — администрация; *arbitiraz* — арбитраж; *ansambel* — ансамбль; *Amistirdam* — Амстердам; *dirama* — драма; *direktiris* — директрисса и т. д.

В орфографии должны быть оговорены фонетические предпосылки правописания заимствованных слов и советско-интернациональных терминов, хотя бы, например, явление редукции неударенных гласных в многосложных словах, сужение и по существу чрезвычайно закрытого *e* в результате слабого ударения (или мягкости предшествующего согласного, как в татарском *sin*). Неударенное *e* в результате сужения, вслед за произношением и в письме, постоянно передается в заимствованных словах через *i*, даже в упомянутом орфографическом словаре были отмечены эти случаи в массовом масштабе, напр.: *diginirat* — дегенерат; *dipo* — депо; *diportament* — департамент; *dikabrist* — декабрист; *dikoratsija* — декорация; *diligat* — делегат; *disant* — десант; *dilitant* — дилетант; *diputat* — депутат; *magnitizm* — магнетизм; *cimpion* — чемпион; *adris* — адрес; *adrisat* — адресат; *agrigat* — агрегат; *atistat* аттестат; *disatnik* — десятник; *apartamint* — апартамент; *apilatsija* — апелляция и т. п.

Узбекская орфография обходит вопрос о редукции гласных, в частности *o*, в неударенных слогах многосложных слов, хотя и отмечает бегло, что: «русско-европейское *o* в словах, вошедших в наш литературный язык, во всех случаях передается через *o*. Если даже в таких словах и произносится *a*, в письме сохраняется единообразие: *sotsial*, *bolşevik*, *kommunist*, *koll gija*, *komsomol*, *hegemonija* и т. п.»[1]

Здесь необходимо должен быть отмечен момент акцентуации в многосложных словах, откуда явствовала бы и самая закономерность чередования неударенного *o* — *a* в произношении. Между тем и в республиканской и в областной и районной печати замена неударенного *o* в письме через *a* явление весьма распространенное, напр.: *avtabus*, *avtamat*, *avtabiografija*,

[1] Ozbek tilinin birlaşgan imlasi . . . , Taşk., 1934, § 24.

avtamobil, *avtanomijá*, *agraindustrial*, *afarizm*, *kompazitor*, *limanat*, *despatizm*, *diagnaz*, *paraşok* и т. д. и т. п. вместо соответственных: автобус, автомат, автобиография, автомобиль, автономия, агро-индустриальный, афоризм, композитор, лимонад, деспотизм, диагноз, порошок и т. д.

В связи с акцентуацией необходимо поставить вопрос специально о родовых окончаниях в заимствуемых словах и советско-интернациональных терминах, ибо этот вопрос является также немаловажным вопросом узбекской орфографии.

Многосложные заимствуемые слова и советско-интернациональные термины с конечным открытым неударенным слогом теряют в узбекском произношении конечную неударенную гласную в *Auslaut'e* или конечный неударенный слог в целом, как это видно из следующих примеров:

aksióm — аксиома	*diagrám* — диаграмма
gazét — газета	*prográm* — программа
foném — фонема	*telegrám* — телеграмма
Varşáv — Варшава	*milisa* — милиция
kvartír — квартира	*kvitansa* — квитанция
minut — минута	*stansa* — станция
Odéss — Одесса	*Danij* — Дания
smén — смена	*minonós* — миноносец.

В косвенных падежах заимствованные существительные с усеченным конечным безударным слогом или конечной безударной гласной рассматриваются как все узбекские существительные с конечным согласным: *gazetida* — «в газете», *gazetiniŋ* — «газеты»; *Stalinniŋ telegrami asasida* (Q. *Ozb.*) — «на основе телеграммы Сталина» и т. п.

Но на ряду с этим или в результате контоминации конечной гласной заимствуемого слова и «разделительной» гласной, разделяющей стечение согласных на конце слова в узбекском языке, или вследствие литературного характера заимствования, в письме сплошь и рядом сохраняется конечный безударный слог и безударная гласная: *gazeta jardami bilan* (В. Р.) — «при помощи газеты»; *Katta programma dir* — «есть великая программа...» «Q. Oz». *va Stalin joli gazetalari* — «газеты „Кызыл Узбекистан" и „Сталинский путь" ...» и т. д. В ряде случаев конечная безударная гласная сохраняется в произношении и в письме при существительных в Nominativ'e и Genitiv'e, а в Dativ'e, при наличии ударенного падежного аффикса, усекается, напр.: *fabrikaniŋ jolinda*—«на пути фабрики»,

bizniṇ fabrikada — «на нашей фабрике», но *fabrikka kirib işlajdi* — «работает, поступив на фабрику» и т. п.

Модификация окончаний в результате перегласовки внутри слога типа: *spiska* — «спи́сок», *ucástka* «уча́сток» и пр. объясняется также слабостью ударения на конечном слоге, который при склонении противостоит принимающим на себя ударение падежным аффиксам, в силу чего вслед за переносом ударения в слове ударение на конечном слоге слова еще более ослабляется и следует перегласовка внутри слога: *Spísok-spìsŏklár* — *spìsŏkníṇ* —> *spìskalár* — *spìskaníṇ* и т. п. С другой стороны, стечение двух согласных на конце слова вызывает появление гласного под воздействием согласных грамматических аффиксов, это «гласная — разрядка» устраняет дальнейшее стечение согласных, не свойственных узбекскому языку, напр.: *sturma* «штурм»; *kioska* — «киоск»; *kioskaci* (*kioskci*) — «продавец в киоске»: *Lodze* — Лодзь и т. п. На ряду с этим существительные на *ы* в русском (или *о*) меняют в узбекском окончание на *а*, напр: *konserva* — консервы, *manevra* — маневры, *Afina* — Афины, *pima* — пимы, *maestra* — маэстро и т. п.

Чрезвычайно большой лингвистический интерес представляют факты заимствования окончаний русских прилагательных. В процессе заимствования элементами, заимствуемыми из других языков, являются по преимуществу имена существительные. Замечательно поэтому, что в процессе устного заимствования русские прилагательные в первую очередь усваиваются в значении существительных, напр.: *konni* — «конный милиционер», *konnilar* — «конная милиция», *starşi* — «старший милиционер», *voenni* — «военный, военнослужащий», *komęrceskij* — «коммерческий магазин» и т. п. Это движение прилагательных не абсолютно, разумеется, и с одной стороны усиливается вместе с активизацией устного общения и заимствованием прилагательных, как таковых, в словосочетаниях, напр.: *texniceskij katiblari* (В. Р.) «технические секретари»; и т. п., а с другой стороны узбекским существительным-прилагательным по своей синтаксической функции: *raboci ailasida tuṋuloṋan* — «родился в рабочей семье»; *burzuazijg idiologiasi* — «буржуазная идеология» и т. п. К прилагательным новообразованиям: *şablon xaŗakteristika* (В.) — «шаблонная характеристика»; *konkret takliflar* (В. Р.) — «конкретные предложения» и т. п.

Темпы заимствования и в устной и в литературной форме чрезвычайно усилились. В процессе заимствования намечается определенная тенденция к частичному преодолению чисто фонетических препятствий в усвоении родовых окончаний и в случаях, отмеченных выше, и сохранению родовых окончаний и на узбекской почве, напр.:

skamejka — скамейка
brigada — бригада
qazeta — газета
kategorija — категория
milisija — милиция
obtocka — обточка
depo — депо
zveno — звено
qursi — курсы
kartocka — карточка
publitsistika — публицистика
gruppa — группа, и т. д.

В какой мере нормализируется орфографически усечение конечных безударных слогов и безударных гласных и в какой мере фиксируются окончания русских прилагательных типа: *komerceskij*, *vojennij*, *kontrolnij*, *texniceskii*, *starşi* (ср. *Cernamorij* — «Черноморье») и т. п...? В какой мере необходимо нормализировать подобного рода явления?

На эти вопросы принятая узбекская орфография не дает ответа, а необходимость в соответствующем толковом разъяснении фонетических явлений, связанных с особенностями акцентуации совершенно очевидна. Целый ряд фактов придется перенести из этой области в орфографические справочники и словари, но общая формулировка явлений редукции гласных в произношении должна войти в состав правил единой узбекской орфографии.

Из области, связанной с фонетикой и орфографией заимствованных слов и советско-интернациональных терминов, заслуживают внимания вопросы правописания русских иотированных гласных *е*, *ю*, *я* и мягких согласных.

Принятые формулировки совершенно недостаточны и не могут служить критерием для правильной передачи русских иотированных гласных и мягких согласных. Существующие правила упрощены и в силу этого абстрактны, именно:

c) «русские слова, пишущиеся с «*ё*» в начале слога, пишутся через *jo* (а в некоторых случаях и через *o*),

ç) русское *ю* в начале слога пишется через *ju*, а в середине слога пишется иногда также через *u*: *jurist*, *bjurokrat*, *manikur* и т. п.

d) русское *я* в начале слога пишется через *ja*, в некоторых именах через *ja* и в конце слова, а в середине слога пишется также и через *a*: *jaşik*, *Galja*, *knaz* и т. п.».[1]

Приведенные правила не дают никакого представления ни о природе русских иотированных гласных, ни об особенностях правописания этих гласных вообще. Между тем, гласные *е*, *ю*, *я* в русском языке графически выражают либо «мягкость» (палатальность) предшествующего согласного

[1] Ozbek tilinin birlaşgan imlasi..., Task., 1934, стр. 23.

перед соответствующими гласными *o*, *u*, *a*, либо самодовлеющий среднеязычный согласный j перед теми же гласными, т. е. *jo*, *ju*, *ja*. Отсутствие в узбекском языке фонематически выраженной разницы «мягкости» и «твердости» согласных, типа русских: пыл — пыль; стол — столь; рад — ряд; сот — соть и т. д. вовсе не снимают вопроса о такого рода разграничении и в узбекской орфографии, ибо как раз «мягкость» согласных в практике вызывает оговорки и не требует большей частью особого среднеязычного согласного j следом за палатальными согласными, именно:

knaz — князь	*manikur* — маникюр
atrad — отряд	*debut* — дебют
sentabr — сентябрь	*avantura* — авантюра
slot — слет	*Munxen* — Мюнхен
Bogolubov — Боголюбов	*Milutin* — Милютин
Surix — Цюрих	*Celuskin* — Челюскин
Anri Barbus — Анри Барбюс	*Fon-Bulov* — Фон-Бюлов
budzet — бюджет	*Brussel* — Брюссель, и т. д.

При таком разграничении, напротив, необходимы были бы оговорки по поводу написаний типа: *bjuro*, *bjurokrat*, *amjoba Galja*, *burjat* и т. п.

Меньшее значение, может быть, имеет вопрос о правописании в заимствованных словах гласного *u* параллельно губно-губному *v* и русскому губно-зубному *в*, но и в этом случае написания типа: *auditorija* и *avdetorija*, *Avistirija* и *Austiralija*, *avksion* и *auksion* и т. п. заставляют желать разъяснения в принятой орфографии.

С точки зрения фонетических предпосылок правописания заимствованных слов и советско-интернациональных терминов принципиальное значение имеет в узбекской орфографии параграф о согласных *h* и *g*, именно: «заимствованные слова с европейским *h* пишутся не через *g* как в русском, а через *h*: *Henrix*, *hegemonija*, *hektar* и т. п.»[1]

Возражения против этого этимологического по существу принципа мною были сформулированы в предисловии к словарю иностранных слов, вошедших в узбекский язык, составленному А. Амири. И устная и литературная форма заимствования слов с «европейским *h*» имеет в массе своим источником современный русский литературный язык, и практика заимствования европейского *h*, кстати сказать начатая в период 1905—1917 гг., сигнализирует о некотором разрыве произношения и орфографии и вообще спорности принятого этимологического принципа, хотя бы в слу-

[1] Ozbek tilinin birlaşgan imlasi..., стр. 24.

чаях таких этимологий, как «галстук» из нем. Hals — шея и tuch — косынка, платок, Buch-halter бухгалтер и т. п., или hektar и в принятом сокращении *ga*. Следование «европейскому» источнику предполагает ненужную осведомленность об особенностях французской, английской и т. д. орфографий и даже следование чуждой орфографии в таких случаях, как франц. Hallebarde русск. «алебарда, франц. Hangar русск. «ангар», франц. Hanse — русск. «Ганза», франц, Harpe, русск. «арфа», франц. Herbier, нем. Herbarium, русск. «гербарий», нем. Homöopathie, русск. гомеопатия, франц. Hierarchie, русская иерархия, франц. Hiéroglyphe, русск. иероглиф, франц. Humanitaire, русск. гуманитарный и т. д. и т. п.

Что такого рода затруднения в орфографии заимствованных слов с европейским *h* имеются, свидетельствуют принятые написания, напр. *heroglif*, *hijaroglef*, *hidraplan*, *gidrotexnika*, *Gerin*, (нем. Höhring) и т. д.

Приведенные замечания далеко не исчерпывают проблем узбекской орфографии. Чрезвычайно сложная морфологическая структура узбекского языка требует, особенно на современном этапе развития узбекского литературного языка, тщательной разработки морфологических элементов правописания; между тем надо признать, что именно эта сторона принятой орфографии является наиболее неразработанной и несистематизированной.

Совершенно исключительное место, например, занимает в узбекской орфографии вопрос правописания сложных существительных. Процесс словообразования на современном этапе знаменует, это можно смело утверждать, известные сдвиги в языковом мышлении. С одной стороны, новые понятийные представления, с другой — калькирующее восприятие новых семантических единиц из новой языковой среды, — буквально перестраивают традиционные формы языкового мышления и, следовательно, восприятие языковых фактов.

Так новой узбекской орфографии приходится считаться с фактом фонетической деформации, которая сопровождает в живой речи процесс семантического обособления, например, сложных глагольных форм. Видовые оттенки узбекский глагол образует посредством ряда вспомогательных глаголов, которые привносят известные описательные признаки и первообразное значение спрягаемого глагола. Таким образом глаголы совершенного вида в узбекском языке по составу непременно сложны, образуясь с помощью вспомогательных глаголов, теряющих в этой функции свое первообразное значение. На ряду с этим вспомогательные глаголы выражают целый ряд иных функций, образуя категорию воз-

можности действия (глагол *al* — брать, взять) и т. д. Такого рода сложные по составу глаголы отнюдь не воспринимаются аналитически, например:

aldi — взял
alib qojdi — отобрал (взяв оставил)
alib bardi — унес, увез (взяв пошел, поехал)
alib keldi — принес, привез (взяв пришел)
alib ciqti — вынес (взяв вышел) и т. д.

Противоречие содержания и формы ведет к фонетической деформации, к своего рода морфологической эмфазе: *apqojdi* — отобрал, *abardi* — увез, унес, *apkeldi* — принес, *apciqti* — вынес и т. д.

Принятая узбекская орфография справедливо нормализирует ряд подобных явлений, следуя живому произношению: «...получившие в нашем живом языке сокращенную форму сложные глагольные формы, выражающие единое значение, пишутся слитно: *jazaber-jazaver*; *qojaqal*, *alaqal*, *baralmajdi*, *koralmajdi* и т. п.

«На ряду с этим *alib kel*, *ketar emiş*, *jazar ekan*, *barar edi*, *alibtuş*, *barib edi* и т. п. сложные по составу глаголы пишутся раздельно, но появившиеся их усеченные формы типа: *apkel*, *ketarmiş*, *jazarkan*, *barardi*, *aptuş*, *baruvdi* пишутся в таком виде слитно».[1]

Видимо предстоит соответствующие параграфы о правописании глаголов сформулировать в более категорической форме.

Характерно, что слитное написание сложных по составу форм глагола ставится в прямую связь с сложными существительными и их правописанием.[2] Процесс образования сложных существительных настолько убедителен, что правописание глагола и числительных подчас базируется на аналогии с так называемыми сложными существительными.

Между тем факты образования сложных существительных, чрезвычайно многообразный процесс возникновения новых понятийных единиц едва ли могут быть сейчас обобщены и исчерпывающе объяснены, ибо мы можем сейчас указать лишь на определенные т е н д е н ц и и, на появление все новых и новых форм образования сложных существительных в рамках современной стадии развития языка.

Самая постановка вопроса о сложных существительных знаменует новую стадию языкового мышления, развития языка. В национальных языках Советского Союза, в узбекском языке в частности, происходит

[1] Ozbek tiliniŋ birlaşgan imlasi..., стр. 19.
[2] Там же, § 12, стр. 19.

процесс усвоения огромного количества новых понятий, их образования средствами родного языка. На этой почве разрешаются противоречия формы, данной в языке, и существа новых понятий, ломающих форму, утверждающих форму в новом аспекте. Стоит вдуматься глубже в сущность ряда новых слов, терминов и словосочетаний и мы легко установим несоответствие с точки зрения их формально-грамматических элементов. Так *kasaba sojuz*,—«профессиональный союз», с точки зрения формально-грамматической отнюдь не идентичен содержанию, коль скоро «*k saba*»—«ремесленник», «кустарь», «профессионал» не есть имя прилагательное и следующее за ним существительное, в данном случае формально не может быть не оформленным местоименно-притяжательным аффиксом, по типу: *kasaba sojuzi*, *kasabalar sojuzi*, *kasaba sojuzlari* и т. п. Термин *qislaq xoçaliq* — «сельское хозяйство», «хозяйство села», опять-таки формально грамматически, требует оформления существительного *xoçaliq* местоименно-притяжательным аффиксом подобно аналогичному *sahar xoçalioji* — «хозяйство города», «городское хозяйство».

Известное отступление от правила в данном случае объясняется тем, что *qişlaq xoçaliq* употребляется обычно в словосочетаниях в значении имени прилагательного *qişlaq xoçaliq salioji*—«сельскохозяйственный налог», *qişlaq xoçaliq bankasi*—«сельскохозяйственный банк» и т. д. В этой функции прилагательного *xoçaliq* как существительное утратило грамматическую свою форму отношения к определению-дополнению.

Нет сомнения, что в образовании сложных существительных в узбекском языке громадную роль играет калькирующее восприятие новых семантических представлений, напр.: встречающееся слитное написание *başmaqala*—«начальная (передовая) статья», под воздействием русского «передовица»; *qzilaskar*—«красноармеец», *qzilbajraqli*—«краснознаменный» (ая) и т. д.

Узбекский язык не знает краткой формы прилагательных и соединительных гласных; таким образом границами словообразования сложных существительных остаются: акцентуальная характеристика слов и семантический критерий. Понятийная сторона является, несомненно, ведущей предпосылкой образования сложных существительных; семантика, понятийное восприятие буквально толкает на путь образования сложных существительных, создавая постоянное противоречие формы и содержания в словосочетаниях такого рода, как, напр., *azmillat* — «национальное меньшинство», «нацменьшинство», *oz ara tanqid*—«самокритика», *xalqara* — «международный», *ozahani*—«самосознание», «само (свой) сознание», *ozbelgilaş*— «само-

определение» и т. д. Форма во всех случаях наполнена новым содержанием, создана именно в целях выражения новых понятийных единиц.

Наблюдения над узбекской лексикой за последний ряд лет говорят об углублении процесса образования сложных существительных и, отсюда, усилении тенденции в орфографии к слитному написанию их.

Характерно, что первоначальный проект новой узбекской орфографии предусматривал слитное написание лишь имен собственных: «Сложные имена собственные, потерявшие или теряющие самостоятельное значение, дающее понятие только об одном предмете, пишутся слитно: из двух имен: *Taşkent*, *Srdarja*, из прилагательного и существительного — *Aqqorojan*, *Srlimacit*, из существительного и глагола — *Qarjaojdi*, *Sajkeldi*, из трех слов *Gultaçi xoraz*, *Haqqulavat*. . .»[1]

Через небольшой сравнительно промежуток времени это орфографическое правило было расширено далеко за пределы имен собственных. Принятый ныне проект орфографии гласит: «Сложные слова, выражающие одно понятие (значение), потерявшие раздельное значение и слившиеся в нашем живом языке, следует писать слитно, ориентируясь не на историю, а на теперешнее состояние языка:

a) образование из двух существительных: *Taşkent*, *Sirdarja*, *Almata*, *Avlijata* и т. п.

b) из прилагательного и существительного: *Aqqorojan*, *aksaqal*, *Orta-asija* и т. п.

c) из имени и глагола: *Qarjaojdi*, *Sajkeldi* и т. п.

d) из трех слов: *Gultaçixoraz*, *Haqqulabad* и т. п.»[2]

Однако принятое решение, декретируя слитное написание сложных существительных, подводит под понятие «сложных слов» чрезвычайно широкое, неустойчивое определение, что привело на практике к непоследовательности и произвольности в правописании сложных существительных. Слитное написание распространяется подчас на словосочетания, стоящие за пределами понятия сложного слова, и даже более того, например, в подготовленном в свое время к печати бригадой работников Узтерминкома орфографическом словаре двузначные и многозначные числительные рекомендовалось писать слитно: *birjuzaltmişikki*, *birjuzellik* и т. д.

Предпосылки слитного написания так называемых сложных существительных коренятся действительно в их семантической природе и реали-

[1] Новый проект единой орфографии узбекского литературного языка, Ташкент, 1933, § 19, стр. 14.

[2] Ozbek tilinin birlaşgan imlasi. . ., § 11, стр. 18—19.

зуются в рамках синтаксического способа словообразования, точнее — в рамках синтетичности, в структуре узбекского языка.

Но указания **только** на понятийное содержание сложных слов для решения вопроса об их слитном или раздельном написании далеко, разумеется, недостаточно. Сложность проблемы правописания сложных существительных заключается в многообразии способов их образования, причем ясно, что не всякое сочетание «из двух существительных», «прилагательного и существительного», «из имени и глагола» и «трех слов» (со всеми приведенными оговорками об их едином значении и пр.) совпадает с границей слова и семантической и акцентуальной. Границы понятия **слова** и **единого значения** весьма и весьма условны и не всегда, понятно, сложные слова, «выражающие одно понятие и потерявшие раздельное значение», совпадают с границей слова, типа русских: «носовой платок», «львиный зев», «анютины глазки», «Иван-да-Марья», «дождевой плащ», «перочинный ножичек», «Нижний Новгород», «Ростов-на-Дону» и т. д. Прибавим к тому же, что в так называемых сложных словах каждое из них в отдельности только относительно «теряет свое значение» или, употребляя философский термин, снимается в новом значении.

Что же представляют собою типы сложных существительных в узбекском языке?

1. Обратимся к сложным словам из «двух существительных». В первую очередь к сложным словам этого типа необходимо отнести существительные собирательные или интенсивы, повторением однозначных слов (реже не однозначных) образующих собирательное значение или усиливающих первоначальное значение слова: *bala-caqa* — «семейство», «ребятишки»; *aoaj-ini* — «братья», «родня»; *jer-suv* — «владение», «участок»; *aziq-a'qat* — «провизия», «провиант» и т. п.

Этого типа сочетания существительных представляют собою, вероятно, архаический способ образования множественного числа, существительные, образующие их, стоят параллельно друг другу, подобно приложению, второе существительное никакого грамматического отношения к предшествующему существительному не выражает.

2. Наиболее существенный для нас интерес представляют сочетания двух существительных, из которых каждое в отдельности теряет свое значение в новом едином значении.

Едва ли можно согласиться с той мыслью, что этого рода сложные слова суть сочетания двух существительных, из которых первое является атрибутом по отношению ко второму, синтаксически выражая функцию

прилагательного-определения. Неверно также утверждение о типологическом единстве этого рода сложных существительных.

Формально-грамматически сложные слова из двух существительных не отличаются разнообразием форм, перед нами или два существительных в неоформленном (именительном) падеже, или в этой же комбинации второе существительное оформлено частицей отношения (местоименно-притяжательным аффиксом). По существу же и генетически мы имеем дело с определенным многообразием форм образования так называемых сложных слов.

Начать с того, что в группе сложных существительных мы не находим аттрибутивных отношений между двумя существительными, напр.: *alavkurak* — «совок», «совок для углей», *alav* — «огонь», *kurak* — «лопата», — но «огненная лопата», невозможно; *aşqazan* — «котел для варки пищи», *aş* — «еда», *qazan* — «котел», но не «пищевой котел» и т. д.

Здесь нэт атрибутивных отношений и невозможно поэтому «подставить» их формальными средствами, путем усиления атрибутивных функций первого существительного.

Сложные слова этого рода суть предложения «в снятом виде», так сказать, и в них доминирует предикативный элемент»; *alav-kurak* из развернутого «*kurak-alav (ucun) kurak (dir)* — «лопата» — «(для) огня лопата (есть)» и т. п.

Диалектика образования сложных слов в том видимо и заключается, что, вообще, атрибутивные отношения в них суть особого рода атрибутивные отношения, ибо и прилагательные в сложных словах несут особую нагрузку, относя выражаемое ими свойство к определяемому за пределами относящегося к ним непосредственно существительного.

1) Таким образом мы выделяем группу, условно предикативных сложных существительных, сочетания которых обнаруживают отношения членов предложения — дополнения-подлежащего (именной части сказуемого) без помощи падежей и послеслогов, выражая этим отношением, синтаксически а) цель, назначение, в) сравнение, сопоставление: *alavkurak (alav-kurak)* — «совок для углей»; *qolqap (qol-qap)* — «рукавицы»; *ƅelƅaoj (ƅel-ƅaoj)* — «пояс», «кушак»; *ƅojunƅaoj (ƅojun-ƅaoj)* — «галстук»; *nasqavaq (nas-qavaq)*—«табакерка» (для насвая); *aşqazan (aş-qazan)* — «котел»; *aşqavaq (aş-qavaq)* тыква; *aşpcaq (aş-pcaq)*—«кухонный нож», «нож для приготовления пищи»; *kozajnak (koz-ajnak)* — «очки»; *egartoşak (egar-toşak)* — «наседельник»; *qalamqaş (qalam-qaş)* — «прямобровая»; *atqulaq (at-qulaq)* — «конский шавель»; *qoziqolaq (qozi-qolaq)* — «щавель»; *ituzum (it-uzum)* — «волчья ягода»; *ilanƅaliq (ilan-ƅaliq)* — «вьюн» (рыба) и т. д.

2) Что же касается группы сложных слов из двух существительных, из которых второе оформлено аффиксом отношения, то приходится признать, что понятие «сложного слова» едва ли можно безапелляционно распространить целиком на этого рода сочетания существительных, ибо они как раз в наименьшей мере подходят под определение «сложных слов, выражающих одно понятие, потерявших раздельное значение».

Грамматические отношения двух существительных в подобного рода сочетаниях таковы, что как раз раздельное значение необходимо определяет связь их между собой, ибо грамматические отношения их суть отношения дополнения к подлежащему, формально выраженные без посредства косвенного (родительного) падежа, с помощью аффикса отношения (местоименно-притяжательного аффикса). Иными словами эти отношения выражают грамматические отношения данного существительного к другому, как отношения двух самостоятельных слов. Поясним это на примере: *iş kun-i* «рабочий день», принято рассматривать как сложное слово, но уже образование множественного числа: *iş kun-lar-i* обнаруживает то обстоятельство, что мы имеем дело не с одним сложным словом, а с двумя, причем в косвенных падежах и их акцентуальные границы выделяются еще более: *iş kun-lar-i-dá*, *iş kun-lar-i-nin* и т. д. Только в тех случаях, когда мы имеем дело с известными персонифицирующими значениями, сочетания существительных этого рода субстантивируются семантически, типа: *jüzbaşi* — «сотский», *qaravulbaşi* «начальник караула», образуя и множественное число соответственно: *juzbaşi-lar*, *qaravulbaşi-lar* и т. п.

Таким образом сочетания двух существительных с аффиксом отношения мы выносим за пределы понятия сложного слова, выделяя как особый тип сочетаний существительных с аффиксом отношения: *koz jaşi* — «слезы»; *iş kuni* «рабочий день» (день работы); *iş haqi* — «заработная плата» (плата труда); *ilan izi* — «змеиный след»; *kurbaka sallasi* — «гриб» (*чалма* лягушки); *Oral koli* — «Аральское озеро» и т. д.

Исключением являются отмеченные выше персонифицированные сложные существительные.

3) Самой значительной группой сложных слов, существительных и прилагательных, является группа атрибутивных сочетаний имен.

Особенностью этого рода сочетаний имен, как было отмечено выше, является двоякая функция определений (прилагательных, существительных). Определения в этого рода сложных словах относят выражаемое ими свойство (атрибут) к определяемому за пределами относящегося к ним непо-

средственно существительного, создавая особый тип сравнения или метафоры, или субстантивированное прилагательное, т. е. прилагательное в значении существительного.

В самом деле, в сочетаниях: *korşapalak (kor-şapalak); alapocaq (ala-pocaq)*; *qziliştan (qzil-iştan)* и т. п., прилагательное в каждом отдельном случае, будучи определением следующего существительного, одновременно и не есть определение, ибо метафорически переносит признак на название третьего имени:

koz-şapalak — (слепая бабочка) = «летучая мышь»
ala-poçak — (пестрая корка) = «дыня» (особый сорт)
qzil-iştan — (красные штаны) = «дятел» и т. д.

Еще более убедительно этот метаморфоз атрибута можно показать на следующем примере: в выражении «*qara qalpaq kijdim*» — «я надел черную шапку» прилагательное *qara* есть определение к *qalpaq* — т. е. «черная шапка», в названии: *qaraqalpaq* — «каракалпак» — определение снято, так сказать, в новом лексическом значении.

Отсюда можно заключить, что вообще атрибутивные сочетания имен создают просто новое прилагательное, новый сложный, так сказать, признак. С этим выводом можно согласиться в той мере, в какой признак существительного может быть отнесен к третьему имени: *qisiq koz* не «узкие глаза», а «узкоглазый», *suruk koz* не «кокетливые глаза», а «кокетливоглазый» и др.

Отсюда функции определения: *qisiq koz adam; qara jurak adam* и т. п. и тенденция усилить этого рода сочетания имен аффиксами образования прилагательных и отвлеченных существительных: *paxmaq cacli*, *ala kozli*, *qara juraklik*, *sadda dillik* и т. п. Этой тенденции, в свою очередь, противостоит тенденция субстантивации прилагательных, т. е. превращение прилагательных в существительные по значению: *qaraxalq* — (простой, черный народ) — «простонародье», *qarabulut* (черное облако) — «туча»; *qaratorpaq* (черная земля) — «чернозем» и т. д.

Следовательно в тех случаях, когда прилагательное (или существительное в функции определения) является определением **только следующего за ним и относящегося к нему существительного** с самостоятельным значением, говорить об этого рода сочетаниях, как о сложных словах, незакономерно. Сочетания типа: *qzil askar*; *qzil partizan*, *Orta Asija*, *Orta asr*, *Orta deŋiz*, *orta maktab*, *Qzil Qoşun*, и т. д. и т. п. отнюдь не являются сложными словами. Здесь во всех случаях прилагательное определение остается таковым, т. е. остается одним из возможных

признаков существительного, равно как и в тех случаях, когда новые признаки изменяют видовое лексическое значение первообразного существительного: *qaroja* — «ворона», *qara qaroja* — «черная ворона»; *ala qaroja* — «пестрая ворона»; *kok qaroja* — «сизая ворона», «сизоворонка» и т. д., исключение составляют случаи, когда видовое значение снимается новым лексическим значением: *aqquş* — (белая птица) — «лебедь»; *qaraquş* — (черная птица) — «коршун» и т. д.

4. Следующая группа сложных слов может быть названа группой сложно-причастных имен.

Причастие по своему лексическому значению и синтаксическому употреблению является отглагольным прилагательным и в этом качестве возможно при существительных, определением которых оно и является, наравне с собственно прилагательными, вступая с существительными в атрибутивные отношения: *aqar saj* — «текучая, текущая речка»; *aqar suv* — «проточная вода»; *capar at* — «скаковая лошадь»; *qalojan darja* «старое русло реки» и т. д.

Одновременно причастие может обращаться в существительное по значению: *capar* — «гонец, курьер» и т. д. В этом своем значении существительного причастия, сохраняя глагольное управление, наравне с отглагольными существительными, вступают в сочетания с существительными именно глагольной, так сказать, стороной, образуя новое, сложное существительное, типа: *otsacar* — «огнемет»; *oqsacar* «пулемет»; *kunbatar* — «запад», *beşatar* — «пятистрельный», винтовка»; *muzjarar* — «ледокол»; *orunbasar* — «заместитель»; *quşqonmas* — «сорт винограда» и т. д.

Сюда же необходимо отнести группу сложно-причастных имен с элементами, заимствованными из персидского языка: *cojxor*, *paraxor, nanxor*, *araqxor, askijabaz*, *bedanabaz*, *xabardar, alaqadar*, отсюда, *lajxorak, maşxorak*, *tutxorak* и т. д.

5) К вопросу о сложных словах близко примыкает вопрос о приложении, — особого рода спутнике существительного, формально тяготеющего к существительному-определению, но не подчиняющемуся ему, стоящему параллельно, с некоторым элементом предикативности (коль скоро следует за существительным), напр. *Taşkent şahri*, *Ajim qişlaq*, *Qijat mahalla* и т. д.

В ряде случаев трудно определить, какое из двух существительных является собственно приложением по значению, настолько они приближаются к сочетанию синонимов, тесно примыкают друг к другу: *cal-buva* — «старик — дедушка»; *kampir-buva* — «старуха — бабушка»; *oojul-bala* — «мальчик — сын», мальчуган и т. д.

Сюда же нужно отнести группу приложений соименных, так сказать, приложений при именах собственных: *Aral-aka*, *Ioldaş-aka*, *Rozi-bibi*, *kelin-bibi*, *kelin-oji*, *Sejbani-xan*, *Babur-xan* и т. д.

В тех случаях когда эти соименные приложения входят в состав имен собственных, их, разумеется, нельзя рассматривать как приложения, напр.: *Asilmirza*, *Sabirçan*, *Axmatçan*, *Nurbibi*, *Salamatxan* *Saçidaxan-bibi* и т. д.

Рассмотренный порядок вещей требует определенных выводов и применительно к орфографии. Общие выводы не трудно предугадать: необходимо расширить и детализировать соответствующий раздел принятых орфографических правил, трактующих вопрос о так называемых сложных словах.

Существующая практика чрезвычайно неупорядочена, непоследовательность в правописании в этой части иногда поражает, в одном газетном столбце сплошь и рядом можно видеть и раздельное и слитное написание одного и того же слова или словосочетания.

Разумеется, общие принципы и определения орфографических правил необходимо закрепить в орфографическом словаре. Резюмируя сказанное можно эти общие выводы формулировать следующим образом:

a) Типы образования сложных существительных и прилагательных в узбекском языке чрезвычайно многообразны. Процесс их образования особенно усилился на современной стадии развития языка.

b) За пределы понятия сложного слова (этим, разумеется, решается вопрос об их раздельном написании) необходимо вынести сочетания прилагательных (и существительных- определений) с существительными определяемыми, которые выступают как самостоятельные слова при известном подчинении определению, типа: *qzil askar*, *Orta Asija*, *qzil partizan* и т. д. Сюда же должны быть отнесены сочетания двух существительных с аффиксом отношения, типа: *qurbaqa sallasi* и т. д., и, наконец, собирательные имена — интесивы и приложения (группа тесно примыкающих), последние пишутся через дефис: *bala-caqa*, *Rozi-bibi*, *Aral-aka* и т. д.

c) Слитно пишутся лишь собственно сложные слова (существительные и прилагательные), типы которых рассмотрены нами выше.

d) Границей сложного слова является не только семантическая природа его, но и известная фонетическая (акцентуальная) характеристика, наличие или отсутствие выраженного словесного ударения.

Самостоятельного рассмотрения требует вопрос о правописании имен существительных собственных, ибо группа имен собственных, хотя и примыкает определенной частью к рассмотренным нами типам образования сложных существительных, но семантически резко выделяется в особую

группу, в силу чего вопрос о слитном написании сложных существительных не случайно был поднят именно в связи с правописанием имен собственных.

Практика, опять-таки, свидетельствует о чрезвычайной неустойчивости правописания имен собственных (географическая номенклатура в первую очередь) именно в результате абстрактных требований существующих правил орфографии. Так, в газете «Кызыл Узбекистан» мы находим написание *Ortaasija*, в газете «Зарбдар» — *Orta Azija* и в газете «Бухара» — *Orta-Asija*. В одном и том же номере газеты: *Caş tepa*, *Caş Tepa*, *Caştepa* и т. д.

Упорядочение правописания собственных имен опять-таки в первую очередь зависит от выделения за скобки понятия сложных слов, названий из двух категорически самостоятельных слов, типа: *Jaŋi Buxara* — «Новая Бухара»; *Orta Azija* — «Средняя Азия»; *Juqari Circiq* — «Верхний Чирчик»; *Qara deniz* — «Черное море» и т. д., которые должны писаться раздельно. На ряду с этим обычные в географической номенклатуре приложения следует рекомендовать писать через дефис: *Qara-darja*, *Surxan-darja*, *Sir-darja*, *Amu-darja* и т. д.

Это принесет элемент определенной нормы в правописании и значительно упорядочит орфографическую практику.

Совершенно очевидно, что темпы развития узбекского литературного языка опережают установленные каноны, наши правила отстают от потребностей практики. Правописание наречий, послелогов и союзов и особенно многочисленных сложносокращенных слов и новообразований, в частности, настоятельно требует нормирования и унификации.

В правописании наречий, сложных по составу, обнаруживается естественная тенденция к слитному написанию; *hecqacan* — «никогда», *harqacan* — «всегда», *harqajerda* — «всюду», и т. д. Эта тенденция закрепляется постепенно и орфографически.

Сложносокращенные слова и кальки представляют исключительно интересную картину внедрения и распространения в узбекском языке в устной и письменной речи на новой структурной основе: отметим исчезновение соединительных гласных: *neftbaza* — «нефтебаза»; *neftsindikat* — «нефтесиндикат»; *Dneprstroj* — «Днепрострой» и т. д., расчленение в произношении и в письме элементов сложносокращенных слов: *agra ucastka* — «агро-участок», *pom direktori* — «помдиректора», *hidro elektir stansasi* — «гидроэлектростанция»; *Sojuz mjaso* — «Союзмясо»; *prof sovet* — «профсовет». *Ped Institut* — «Пединститут» и т. д.

Примеры эти взяты из районной печати, по преимуществу, но они убедительно говорят об известной метаморфозе сложносокращенных слов, на почве узбекского языка и требуют соответствующего орфографического нормирования.

Таковы, в общих чертах, очередные задачи в деле строительства современного узбекского языка именно в плане орфографической его нормизации. Существующий свод орфографических правил уже нуждается в некоторых дополнениях и новых разъяснениях, это вызывается бурными темпами развития современного литературного языка.

На данном этапе чрезвычайно желательно установление более подробно разработанных и тщательно мотивированных сводок орфографических правил. В этом плане принятый и утвержденный проект новой единой узбекской орфографии должен стать костяком орфографических руководств и справочников, которые, по возможности, отвечали бы на бо́льший круг возникающих орфографических вопросов, а их не малое количество.

Естественно, что вопросы орфографии тесно связаны с проблемами морфологическими и синтаксическими и, в частности, с проблемой терминологии, но круг этих вопросов приходится выделять как особую задачу наших очередных исследований.

Ленинград, март 1935 г.

Н. А. БЕЛГОРОДСКИЙ

Географические имена в персидских названиях предметов материальной культуры

В современном персидском языке есть ряд слов, преимущественно наименований предметов материальной культуры, названных географическими именами стран, районов или городов, откуда эти предметы получили распространение. Этот способ словотворчества, очевидно, свойствен не только персидскому языку.[1] Наличие подобных слов в языке характеризует хозяйственные и культурные связи с другими странами, возникавшие в процессе истории данной страны. В качестве наиболее укрепившихся подобных слов в персидском языке можем привести следующие (располагаем их в алфавитном порядке).

I

ارسی — «уруси» — «русский» название кожаной обуви, в настоящее время обуви азиатского образца (нечто в роде туфлей без задника) в отличие от обуви европейского образца. Но, как объясняют на месте в Иране, раньше этим названием именовалась обувь из сафьяна, казанской работы, отсюда и название «уруси» — «русский», т. е. русская обувь.

ارسی — «уруси» (пишется и читается одинаково с предыдущим словом) — название особого устройства окон-дверей[2] с поднимающейся вверх рамой. Обычно такое окно-дверь состоит из трех частей: средней — поднимающейся и двух боковых — не поднимающихся и твердо закре-

[1] В частности, подобное явление в русском языке отмечено в статье А. Г. Горнфельда «Страны и народы в языке», сборник «Муки слова», М.—Л., 1927, стр. 206—223, и в некоторых других работах. Пользуясь случаем, обращаю внимание на ошибку, допущенную А. Г. Горнфельдом в этимологии слова коленкор, которое он производит от географического названия г. Калькутты в Индии, в то время как слово коленкор несомненно персидского происхождения, как и многие слова русской номенклатуры тканей, и ведет свое начало от слова калямкар — قلمكار — широко известного персидского набивного ситца местной кустарно-ремесленной выработки.

[2] В понятии ارسی — уруси нет диференциации между окном и дверью.

пленных.[1] Рамы подобных окон-дверей состоят из мелких переплетов, заполненных разноцветными стеклами. Персы считают, что такой образец устройства окна-двери заимствован ими в свое время из России; в настоящее время «уруси» в Иране все больше и больше выходят из употребления и заменяются обычными окнами и дверями европейского образца, но в домах старой постройки (построенных до конца прошлого столетия) они еще встречаются довольно часто.

بخارا — бухара» — каракуль — называется так по месту происхождения лучшего каракуля на востоке, именно бухарского каракуля.[2] В Иране считается, что основанием для разведения каракулевых овец послужила порода, вывезенная из Бухары. Культура этих овец сперва была из Бухары занесена по соседству в Хорасан, а затем и дальше. В настоящее время лучшей иранской мерлушкой (сорт каракуля) считается ширазская, но торговля ею до сих пор сосредоточена главным образом в руках хорасанских купцов, в их же руках до самого последнего времени была сосредоточена и контрабандная торговля бухарским каракулем.

بلغار — «бульгар» — подошвенная кожа. Слово это древнего происхождения и связано с волжскими болгарами. В свое время, в период существования на Волге Болгарского государства, как известно, имела место очень оживленная торговая связь между болгарами и странами халифата, осуществлявшаяся по Волге и Каспийскому морю. Главными товарами, вывозимыми из страны болгар в страны халифата, была пушнина и кожевенное сырье. Перечень основных товаров, шедших из Болгарии в Хорезм и через Итиль в Каспийское море и дальше в Иран и другие страны халифата, следующий: меха собольи, беличьи, горностаевые, куньи, лисьи, бобровые, заячьи, козьи, шкуры, воск, стрелы, крупная рыба, шапки, белужий клей, рыбьи зубы, бобровая струя, янтарь, юфть, мед, орехи, гончие собаки, мечи, кольчуги, березовый лес, славянские невольники, овцы, рогатый скот.[3]

[1] См. описание окна подобного устройства, приведенное у Муртезы Мушфика Казими в его произведении «Страшный Тегеран» — طهران مخوف.
اگراز این دالان عبور نمائیم وارد حیاطی میشویم که ساختمانش بکلی قدیمی یعنی عمارتش که در طرف شمال واقع شده عبارت از یك طالار بسبك ایرانی که به ارسی معروف است ارسی بعوض درهای معمولی دارای درهای مخصوصی است که اولا چهار چوب آن در قسمت تحتانی از زمین بلندتر است و ثانیا قسمت شیشه درآن درمیان دولبه طرفی پائین و بالا میرود (1-е тегеранское изд., 1340 г. х., кн. 2-я, стр. 41)

[2] Ср. по-французски мерлушка и каракуль называется — astracan по названию г. Астрахани. Через этот город каракуль и мерлушка в свое время в большом количестве вывозились на европейские рынки.

[3] Ю. Готье. Железный век в Восточной Европе. М., 1930, стр. 176.

Кожи, видимо, в Болгарии были одним из главных богатств страны и служили, в частности, платежным средством при сборе натурального налога; один из основных продуктов питания — лошадиное мясо также свидетельствует о развитом скотоводстве Болгарского государства.[1] Во всяком случае название «бульгар» или «бульгари» для некоторых видов кожи было распространено не только в Иране, но и в других странах Востока.[2] Очевидно, как центр скотоводства и кожевенной промышленности, сперва Болгары, а затем Казань — в процессе истории пользовались известностью в восточных странах и в частности в Иране.[3] В этой связи интересно отметить, что до самой Октябрьской революции иранская пушнина (куница, выдра, лиса) в сыром виде отправлялась обычно для выделки в Казань и лишь в период вынужденного перерыва этих сношений, во время нашей гражданской войны, в Иране налаживается дубление и обработка пушнины на месте. Характерно, что если в свое время в X—XI веках и даже позднее кожевенное сырье и продукты охоты шли из Болгар и тогдашней Руси в Иран, взамен готовых изделий и предметов роскоши, то в эпоху империализма, во второй половине XIX и в XX столетиях положение вещей изменилось: Иран стала экспортером премущественно сырья, в частности кожевенного сырья и продуктов охоты и — импортером готовых изделий и предметов роскоши.

В самые последние годы, когда в Иране стала получать распространение обувь на резиновой подошве, население иногда переносит название «бульгар» и на резиновую подошву.

پرتغال — «пуртугаль» — апельсин — название этого плода из семейства цитрусовых, собирательно называемых в настоящее время по-персидски مرکبات — «мураккябат», произведено от португальцев, завезших эти плоды в Иран в период их экспансии на берегах Персидского залива

1 «Главная пища их — просо и лошадиное мясо, несмотря на то, что в их стране много пшеницы и ячменя. Каждый, кто сеет что-нибудь, берет это себе, царь же ничего не получает от этого: только они дают ему по бычачьей шкуре с дома» (Гаркави. Сказания мусульманских писателей. Ибн-Фадлан, стр. 90—91).

2 «Сырые кожи и даже юфть до сих пор называются на Востоке бульгари или „булгарскими“ и, вероятно, вывозились арабами. Несомненно, по крайней мере, что кожи составляли главное богатство булгар, потому что и самая подать их, по свидетельству Ибн-Фадлана, состояла во взносе по шкуре с каждого дома или кибитки. Доказательством, что они умели и выделывать кожи, служит замечание, сделанное Добрынею во время похода великого князя Владимира на Волгу, что все они носили сапоги, а не лапти, — „вси в сапозех“». (П. С. Савельев. Мухаммеданская нумизматика в отношении русской истории. СПб. MLCCCXLVI. стр. LXXXIV.)

3 См. этимологию приведенного выше слова ارسی — особый вид обуви.

(XV—XVII вв.).[1] Другие сорта из этого же семейства цитрусовых, распространенные в Иране, это — ترنج — «турендж» — померанец, نارنگی — «наренги» — мандарин, ليمو — «лиму» — лимон, نارنج «нарендж» — горьковатый лимон и др.

تبریزی — «табризи» — дословно «тавризский». Так называют в Иране пирамидальный тополь по основному месту его распространения — провинции Азербайджан, в данном случае по главному городу этой провинции — Тавризу. Есть данные думатъ, что родиной пирамидального тополя вообще был Иран.[2]

چینی — «чини» — дословно «китайский». Так персы называют фарфор. Известно, что китайский фарфор оказал сильнейшее влияние на персидский как в отношении методов выработки, так и в отношении рисунка,[3] в особенности это влияние сильно сказалось после монгольского нашествия. Позднее образовалось собирательное — چینی آلات — «чини-алят» — фарфоровые изделия.

Интересно в этой связи отметить, что фаянс персы называют в настоящее время словом بدل چینی — «бадаль-чини», т. е. дословно «заменяющий фарфор», «не настоящий (поддельный) фарфор».

حلبی — «халяби» — жесть — называется по имени г. Аллепо حلب в Сирии, откуда, как считают персы, материал был занесен в Иран вместе с соответствующим ремеслом по выработке изделий из жести. Ремесленник — жестянщик отсюда называется حلبی ساز — «халябисаз».

ری — «рей» — вес, равный $4^1/_2$ тавризским манам, т. е. около 13.5 кг. Слово это первоначально обозначало — рейский ман. Весовая единица, называемая ман или батман, в условиях феодального Ирана была равной для каждого города, района, а иногда даже и села. Это различие в весе отдельных городов сохранилось и до наших дней. Характерно, что название «рей» в качестве особого веса, т. е. «рейский ман», на несколько веков пережило сам город, положивший начало наименованию ходовой в этом городе весовой единице; г. Рей был разрушен во время нашествия монголов.

شیروانی — «ширвани» — дословно «ширванский». Так называют в Иране железные крыши русского образца. Обычно, наиболее распространен-

[1] Португальцы вообще сыграли большую роль в распространении апельсина и привезли его из Китая также в бассейн Средиземного моря и Европу (Ср. Болш. Сов. Энциклоп., т. 3, стр. 145); китайское происхождение апельсина сказалось, в частности, в названии «апельсин» aple sina, т. е. китайское яблоко.

[2] Энциклоп. словарь Гранат, 7-е изд., т. 41, ч. VIII, стр. 426.

[3] См. A. Pope «An Introduction to Persian Art», London, 1930, pp. 61—62.

ным видом крыш в персидских домах являются плоские глиняные крыши. Во второй половине прошлого столетия для более богатых домов персы стали строить крыши по русскому образцу — высокие, коньком и крытые железом; кровельное железо для этого Иран привозил также из России. Очевидно, название شیروانی произведено по имени бывшей персидской провинции Ширван, т. е. района г. Баку, ставшего к тому времени уже русским, где персы впервые и познакомились с крышами подобного образца.

فیلستان — «филестан» — название особого сорта хлопка американских семян, привившегося и получившего широкое распространение за последние годы в Иране. Название это получило свое начало по наименованию села «Филестан» فیلستان, в Верамннском районе, принадлежащего Мирза Али Акбер Хану Хакими, б. начальнику иранского Главного управления сельского хозяйства (1931—1932 гг.). Хакими после нескольких лет работы выработал в своем имении этот новый сорт хлопка, получивший впоследствии название по имени местности, откуда он произошел.

کشمیر — «кяшмир» — т. е. Кашмир — название области в северо-западной Индии, славящейся своими шалями. Кашмирские шали были в Иране в большом ходу и очень ценились; обычно их называют شال کشمیر, но в настоящее время это название часто сокращают и говорят лишь «кяшмир», не говоря собственно слова «шаль», подразумевая однако под этим кашмирскую шаль.

کاشی — «каши» — дословно «кашанский», по названию иранского города Кашана. Таким именем называются в Иране цветные изразцы. Раньше основное место выработки изразцов в Иране был г. Кашан, достигший в этом отношении большой степени совершенства;[1] в настоящее же время этим именем называются любые изразцы, где бы они ни были изготовлены, тем более, что в самом Кашане производство изразцов сильно сократилось.

لیوان — «ливан». Так называются специальные большие кружки (стаканы), вместимостью примерно пол-литра, в которых обычно летом продают шербет (شربت) или воду со льдом (آب یخ); формой они в большинстве случаев книзу у́же, а кверху шире. Кружки такого типа получили свое начало

[1] Л. Богданов утверждает, что секрет изготовления красок для раскрашивания старых изразцов کاشی в настоящее время утрачен («Персия в географическом, религиозном, бытовом, торгово-промышленном и административном отношении», СПб., 1909, стр. 108). См. также «Подробную географию Ирана» М. Кейхана, ч. 2 — политическая. Тегеран, 1311 г. х., стр. 402.

в местности Лигван لیقوان в Азербайджане, где они изготовлялись и развозились по Ирану. Кружки делались из глины, но это не мешает в настоящее время называть «ливаном» и большие кружки и стаканы из стекла.

ورشو — «варшов» — дословно «Варшава». Этим именем в Иране сперва были названы варшавские мельхиоровые изделия и изделия так наз. фраже, а в настоящее время именем ورشو вообще называется мельхиор, изделия типа «фраже», а иногда мало разбирающаяся часть персидского населения этим именем называет также алюминий и изделия из этого металла. Слово ورشو очень молодое и получило распространение в самом конце прошлого столетия, если не в начале настоящего, в связи с развитием русско-иранской торговли и в частности в связи с завозом в Иран изделий польского промышленного района.

هندوانه — «хиндуване» — дословно «индийский»; так называется в Иране — арбуз, который, надо полагать, был в свое время занесен в Иран из Индии.[1] Дыня называется в Иране словом خربزه — «харбезе» или خربوزه — «харбузе». Не трудно заметить что и то и другое слово послужили основанием для русских слов «дыня» и «арбуз»,[2] но в обратной семантике, т. е. «хиндуване» превратилось на русской почве в «арбуз», а «харбузе» — в «дыню».

Подобная перестановка слов отмечена и в Афганистане. «Обычное название культурного арбуза (*Citrullus vulgaris* Schrad.) в южном Афганистане «гиндуване», что невольно указывает на занос его сюда через Индию. В северном Афганистане его называют «гарбуз».[3]

II

Кроме слов, непосредственно отражающих в своем наименовании географический пункт или местность происхождения, мы находим в современном персидском языке ряд слов, у которых географическое имя выступает в качестве эпитета. Этим так же характеризуется первоначальное место происхождения предмета. В качестве примеров подобных слов можно привести следующее:

[1] Ср. русское слово «персик».

[2] Культура бахчеводства в России, очевидно, вообще своим происхождением обязана Персии; это видно хотя бы из самого названия «бахчи», т. е. باغچه, что по-персидски дословно значит «садик».

[3] Н. И. Вавилов и Д. Д. Букинич. Земледельческий Афганистан, Л., 1929, стр. 420, ср. также ibid., стр. 413.

а) В пределах Ирана

سنگ خراسان — «санг-е-хорасан» — «хорасанский камень» — камень зеленоватого цвета, стеатит, распространенный главным образом в Хорасане. Камень этот довольно мягкий, и из него делают разные поделки: черепки, блюдца, кувшины и т. п.

نان اصفهانی — «нун-е-исфагани» — «исфаганский хлеб» — особый сорт сухого хлеба, напоминающего собой галеты, но сладкого; формой и размером этот хлеб походит на наши тульские пряники. Лучший «исфаганский хлеб» действительно изготовляется и до сих пор в Исфагане, но в настоящее время نان اصفهانی с успехом делают также и в других городах.

б) Вне пределов Ирана

تمر هندی[1] — «тамр-е-хинди», дословно «индийский финик», т. е. тамаринд. Этот продукт и до сих пор ввозится в Иран преимущественно из Индии.

توت فرنگی — «тут-е-ференги», дословно «европейский тут», т. е. клубника. Клубника в Иран занесена из Европы сравнительно совсем недавно, едва ли раньше середины XIX в., и названа так по внешнему сходству с плодом тута. Клубника в Иране и до сих пор мало распространена.

گوجه فرنگی — «говдже-е-ференги», дословно «европейская слива». Так названы в Иране помидоры, занесенные, очевидно, также из Европы.

Тегеран, декабрь 1934 г.

[1] См., например, персидские внешнеторговые контингенты на 1311 (1932—1933) хоз. год под рубрикой ادو یهجات — ٢, т. е. под рубрикой «пряности».

А. БАРАННИКОВ

О некоторых явлениях ротацизма в языке хинди

Поэтические диалекты хинди, — брадж (ब्रज) и авадхи (अवधी), — имеющие столь большое значение в истории поэзии хинди, представляют исключительный лингвистический интерес.

Своеобразие их фонетики, морфологии, словаря давно уже привлекало внимание многих авторов, как индийцев, так и европейцев. Должно сказать однако, что большинство работ этих авторов преследует преимущественно практические цели — облегчить понимание языка того или другого автора, диалектические особенности которого в значительной мере отличны от современного литературного прозаического языка.

Хотя оба названных поэтических диалекта теснейшим образом связаны с соответствующими локальными диалектами хинди, однако, даже при современной степени изученности этих диалектов, можно сказать, что длительное употребление диалектов брадж и авадхи в литературе способствовало их отклонению от соответствующих локальных диалектов. Эти отклонения наблюдаются не только в области словаря и стиля, которые неизбежно всегда отличают литературные диалекты от диалектов местных, в значительной мере ограниченных в области выразительных средств, но также и в области фонетики и морфологии. Несмотря на относительную простоту фонетических и морфологических явлений мы, к сожалению, и до сих пор не имеем ни одной работы, посвященной надлежащему научному рассмотрению этих явлений в брадже и авадхи. Даже данные относительно звучания одних и тех же форм зачастую бывают различны у различных исследователей и часто не совпадают с теми формами, которые мы находим в различных изданиях крупнейших авторов — Тулси Даса и Сур Даса. Еще меньше внимания уделяется вопросу об использовании различных фонетических явлений в потребностях стилистического оформления.

Настоящая краткая заметка имеет своей целью попытку показать, каким образом используется явление ротацизма, т. е. факт замены звука ल *l* через र *r* для потребностей стиля.

Явления ротацизма столь ярко выражены в брадже и в авадхи, что давно уже привлекали вимание исследователей. Кроме многочисленных индийских авторов на них указывают многие европейские авторы, в частности R. Hoernle, S. H. Kellog и др. Большинство авторов при рассмотрении чередования звуков ल *l* и र *r* не всегда достаточно четко разграничивают звуки ल *l* и र *r* разного происхождения, т. е. старые ल *l* и र *r*, восходящие к соответствующим древнеиндийским звукам и новые ल *l* и र *r*, которые появляются в новоиндийских языках в результате исторических модификаций зубных и церебральных согласных. В виду краткости моей заметки, я ограничусь фактами чередования старых ल *l* и र *r*, которые в древнеиндийском языке (в ведическом и санскрите) выступают в качестве плавных. Фактам чередования звуков ल *l* и र *r* нового происхождения будет уделено меньше внимания.

При переходе от современного литературного языка (खड़ी बोली) к диалектам брадж и авадхи мы наблюдаем в этих последних звук र *r* на месте звука ल *l*) прозаического языка во многих весьма часто употребительных словах. Например:

Сур Дас:		Кхари боли:	
बारो *bāro*		बाला *bālā*	«мальчик»
गारी *gārī*		गाली *gālī*	«ругань»
बह्राई *bahrā'ī*		बह्लाना *bahlānā*	«развлекать»
बिजुरी *bijurī*		बिजली *bijlī*	«молния»
डुबार *dubara*	скт.	डुर्बल *durbala*	«слабый»
जरै *jarai*		जलना *jalnā*	«гореть»
संभारा *sambhārā*		संभालना *sambhālnā*	«справляться»
गरा *garā*		गला *galā*	«шея»
सह्रारा *sahārā*	скт.	श्लाघ् *çlāgh*	«хвалить»
लार *lāra*		लाला *lālā*	«господин»

Тулси Дас:	Кхари боли:	
टरै *ṭarai*	टलना *ṭalnā*	«двигаться»
डारी *ḍārī*	डालना *ḍālnā*	«бросать»
तरवार *tarvār*	तलवार *talvār*	«меч»
जाइफर *jā'īphar*	जाइफल *jā'īphal*	«мускат»
चषपुतरी *caṣputlī*	आंख की पुतली	«зрачок»
रोम *rom*	रोम *rom*, लाम *lom*	«волос» и др.

Количество примеров можно было бы увеличить во много раз.

Кроме аналогичных примеров чередования старых звуков र *r* и ल *l*, мы наблюдаем некоторые факты чередования новых र *r* и ल *l*, например:

चेरा *cerā*	चेला *celā* «ученик» и др.

На основании этих и им подобных фактов многие авторы указывают, что диалект Тулси Даса, равно как и диалект Сур Даса характеризуются сильным ротацизмом.

Совершенно понятно, что ротацизм этих диалектов далеко не полный, и в целом ряде слов употребляется только ल *l*. Таковы например:

बल *bala*	«сила»
बोला *bolā*	«сказал»
बालक *bālak*	«мальчик»
ग्वाल *gvāla*	«пастух»
लाये *lāye*	«принесенные»
खेलना *khelnā*	«играть» и др.

Поверхностное наблюдение этих фактов, наблюдающихся в поэтических диалектах брадж и авадхи, может привести к заключению, что формы с ल *l* и र *r* употребляются чисто случайно, что в основе их употребления нет никакого принципа, как то и утверждают некоторые авторы, например, Beames. Во всяком случае употребление в поэтических диалектах форм с र *r*, которым в кхари боли соответствуют формы с ल *l*, обращает на себя внимание.

Дальнейшее изучение этого вопроса показывает, что и в самом кхари боли имеется значительное количество дублетов, где чередуются звуки ल *l* и र *r*, причем значения слов с ल *l* и र *r* хотя и близки, однако не покрываются одни другими. Таковы например:

चरना *carnā*	«пастись»	चलना *calnā*	«двигаться, ходить»
चराना *carānā*	«пасти»	चलाना *calānā*	«двигать»
जरना *jarnā*	«гореть в лихорадке»	जलना *jalnā*	«гореть»
जराना *jarānā*	«вызывать жар»	जलाना *jalānā*	«жечь»
तरवार *tarvār*	«меч»	तलवार *talvār*	«меч»
हर *har*	«плуг»	हल *hal*	«плуг» и другие
новые चेरा *cerā*	«раб»	चेला *celā*	«ученик».
चेराई *cerā'ī*	«рабство»		

Проблема чередования звуков ल *l* и र *r* оказывается еще более сложной, если мы обратимся к древним арийским языкам: ведическому и санскриту.

Уже в Ведах мы находим ряд дублетов, где выступают то ल, то र. Например:

पुरु *puru*	«много»	पुलु *pulu*
मिश्र *miçra*	«смешанный»	मिश्ल *miçla*
जर्गुर् *jargur*	«глотать» интенс. от गॄ-	जल्गुल् *jalgul*
पिच्छोर *picchora*	«свирель»	पिच्छोल *picchola*
रोमन् *roman*	«волос»	लोमन् *loman*

J. Wackernagel в своей грамматике древнеиндийского языка[1] с полной авторитетностью отмечает, что с течением времени употребление ल *l* нарастает. Меж тем как первые девять мандал, своей географической терминологией связанные с западом, с теперешним Афганистаном и Пенджабом, дают диалект с сильным ротацизмом, где, кроме приведенных примеров звук ल *l* совершенно не встречается, уже в десятой мандале, связанной с более восточной географической терминологией, встречаются формы с ल *l*, на месте которого в более древних мандалах было र *r*. Напр.:

म्रुच *mruc* и म्लुच *mluc* «гибнуть»
रभ *rabh* и लभ *labh* «получать»
रोहित *rohita* и लोहित *lohita* «красный» и др.

По вычислениям различных авторов, в последних частях Риг-Веды ल *l* употребляется в 8 раз чаще, чем в более ранних. С другой стороны, по подсчетам Асколи в Атхарва-веде, т. е. в памятнике, несомненно, более позднем по своему языку, чем Риг-Веда, звук ल *l* употребляется в 7 раз чаще, чем в Риг-Веде в целом.

Наконец в эпическом и классическом санскрите употребление ल *l* в три раза превосходит по своей частоте употребление этого звука в доклассической литературе. При этом ряд слов, которые в старых памятниках употреблялись только с र *r*, в классическом санскрите выступают только с ल *r*. Таковы:

लघु *laghu* «быстрый, легкий»
लम्ब *lamb* «висеть»
ललाट *lalāṭa* «лоб»
शुक्ल *çukla* «светлый»
श्लथ *çlath* «разрыхляться» и др.

[1] J. Wackernagel. Altindische Grammatik. Th. I. Lautlehre, Göttingen, 1896, S. 215.

Ряд других слов, ранее употреблявшихся исключительно с र *r*, в классическом санскрите сохраняют это र *r* весьма редко и выступают почти исключительно с ल *l*. Таковы:

बहुर *bahura* и बहुल *bahula* «густой»
मूर *mūra* и मूल *mūla* «корень»
वार *vāra* и वाल *vāla* «хвост, волосы хвоста».

Нарастание употребления звука ल *l* наблюдается еще в большей мере в пракритах. Кульминационного пункта это развитие достигает в пракрите Магадхи, где र *r* исчезает совершенно и на его месте является ल *l*:

लाज *lāja* вместо राज *rāja* «царь»
अंतल *aṅtala* » अन्तर *antara* «промежуточный»
पुलिस *pulis* » पुरुष *puruṣa* «мужчина» и др.

Вопросы пракритской грамматики, как известно, занимали индийских грамматиков значительно меньше, чем вопросы санскритской грамматики. Мы можем поэтому думать, что в некоторых случаях, уловив лишь общую тенденцию к звуку ल *l*, индийские грамматики, бессильные уловить общие принципы его употребления, просто стилизовали некоторые диалекты магадхи, подобно тому как драматические пракриты, например, во многих отношениях представляют собою часто искусственные, стилизованные формы, а не формы, реально употреблявшиеся в соответствующих народных диалектах.

Вряд ли можно признать удовлетворительным объяснение индийскими грамматиками факта наличия дублетов с ल *l* и र *r* в санскрите. По существу формула индийских грамматиков रलयोर् अभेद, т. е. между звуками र *r* и ल *l* нет различия, представляет собою простой отказ от объяснения наблюдаемых фактов.

Столь же мало удовлетворительны и попытки ряда европейских лингвистов объяснить это явление. Это можно видеть хотя бы из утверждения Бартоломэ,[1] который заявляет, что в начале древнеиндийскому языку, как и древнеперсидскому, был свойствен ротацизм, а потом снова вместо звука र *r* является ल *l*.

Пишель,[2] рассматривая факты чередования звуков र *r* и ल *l*, приходит к выводу, что на ряду с западными диалектами, обладавшими ротацизмом, существовали и восточные диалекты, сохранившие звук ल *l* и даже

[1] Bartholomae. KZ., 39, 579 A.
[2] Pischel. GGA, 1884, 512.

расширившие границы его употребления. Влиянием этих последних диалектов объясняется проникновение форм с ल *l* в классический санскрит. Это заключение, основанное на изучении пракритов, подтверждается также и некоторыми данными новоиндийских языков. С некоторой оговоркой мы можем согласиться с утверждением Пишеля о более широком употреблении звука ल *l* на востоке, где, несомненно, было значительное влияние дравидийских языков.

Однако это в весьма слабой мере объясняет факт наличия дублетов с र *r* и ल *l*.

Дж. Бимз в своей сравнительной грамматике новоиндийских языков констатирует, что, во-первых, в диалектах, занимающих в настоящее время территорию пракрита магадхи, где, по данным грамматиков и надписей, на месте звука र *r* является ल *l*, в настоящее время наблюдается обратная тенденция, и мы имеем, например:

करिअ *karia*	вместо	काला *kālā* «черный»
कपार *kapār*	»	कपाल *kapāl* «череп» и др.

во-вторых, он указывает, что в поэтических диалектах хинди часто является звук र *r* вместо ल *l*, и, в-третьих, он отмечает, что в некоторых диалектах Индии смешение звуков र *r* и ल *l* настолько велико, что говорящие относятся якобы совершенно безразлично к тому, какой звук сказать — ल *l* или र *r*. Бимз однако указывает, что соответствующие группы населения сознают различие между этими звуками и безразличие к употреблению звуков र *r* и ल *l* наблюдается среди низших классов населения. В конце концов он считает эту проблему, при современном ему уровне знаний по диалектологии, совершенно неразрешимой.

Мне представляется, что попытки объяснить факты чередования звуков ल *l* и र *r* в литературных диалектах оказались совершенно бесплодными потому, что к их разрешению подходили с методом чисто формальным. Такой метод позволил только чисто статистически установить нарастание употребления звука ल *l* и потом сужение его употребления.

Семантическая и стилистическая сторона этого явления оставлялась без внимания. Равным образом не учитывалась и классовая сущность языковых явлений. Меж тем учет этих моментов способен пролить значительную ясность на эти факты.

Обратимся к Тулси Дасу. Его диалект с полным основанием квалифицируется обычно как диалект с сильным ротацизмом. Мы привели ряд примеров, где на месте ल *l* современного хинди у Тулси Даса наблю-

дается र *r*. Однако, границы употребления звука र *r* вместо ल *l* не расширяются у него до полной неопределенности; они устанавливаются с двух сторон, так как есть целые категории слов, куда र *r* не проникает.

Изучение текста с полной убедительностью свидетельствует о следующих двух фактах.

1. Звук र *r* на место ल *l* не проникает в санскритские слова, которые при всех условиях сохраняют свое ल *l*, хотя эти слова часто являются в народном, вульгарном произношении. Например:

बालकाण्ड *bālkāṇḍa*	«глава о детстве»
कुलदेव *kuladeva*	«семейное (родовое) божество»
मंगलकाजा *mañgalakājā*	«благое дело»
सील *sīl*	«характер»
अनुकुल *anukul*	«благоприятный»
सकल *sakala*	«весь» и многие другие.

Равным образом र *r* не проникает в слова, наиболее часто употребительные в народном языке. Например.:

लेना *lenā*	«брать»
लगना *laganā*	«начинать»
लाग *lāga*	«до»
ग्वाल *gvāla*	«пастух» и т. д.

Ротацизму подвергаются у Тулси Даса преимущественно те слова, в которые возможно привнести разное содержание в зависимости от отнесения их к лицам разных классов. Таковы, например:

जाईफर *jā'īphar*	вместо	जयफल *jayaphala*
रोम *rom*	»	लोम *lom*
(चष-) पुतरी (*caṣ-*) *putrī*	»	चष-पुतली

либо когда говорится о богах и царях. Например:

टरै *ṭarai*	«о Дашарадхе»
दारि *dāri*	«о Кекайи» и т. д.

Если мы учтем указание Бимза о смешении звуков ल *l* и र *r* в современных диалектах низших классов, напрашивается вывод, что ротацизм в литературном диалекте Тулси Даса является одним из стилистических приемов, средством сообщения слову характера более высокого стиля.

Аналогичное положение вещей мы находим и у Сур Даса.

बार *bāra* о Кришне,	но	बालदेव *bāladeva*	
जरै *jarai*	»	जलै *jalai*	
गर *gara*	»	गला *galā*	
गारी *gārī* говорит Яшода	»	गाली *gālī* и т. д.	

Тот факт, что не для всякого лексического элемента со звуком ल *l* мы можем найти его дублет с र *r*, объясняется самим характером произведений Тулси Даса и Сур Даса. В их произведениях выступают преимущественно боги, цари, герои, брахманы, и произведения этих и близких им авторов выдержаны в высоком стиле.

Наблюдения санскритологов свидетельствуют о том, что западные индоарийские диалекты обладали ротацизмом, восточным же диалектам было свойственно ल *l*.

Если мы вспомним, что при подчинении востока, в частности Бенгалии и соседних провинций, представители высших каст в своем большинстве явились с запада Индии, в частности надписи императоров династии Гупта многократно говорят о дарах, которые давались брахманам, и эти брахманы характеризуются в надписях как मध्यदेशविनिर्गत *madhyadeçavinirgata*, т. е. как выходцы из центральной части Индии, а равным образом о том, что отсюда приходили представители военного сословия, мы можем думать, что ротацизм, принесенный с запада брахманством и аристократией и радикально изменивший фонетическую структуру различных новоиндийских языков, осознавался как принадлежность языка высших классов.

Отсюда нетрудно перейти к положению, наблюдающемуся в диалектах бражд и авадхи, когда формы с र *r* получают характер высокого стиля.

Эти три ступени развития дублетов со звуками ल *l* и र *r*, т. е. осознание a) местных западных форм со звуком र *r*, как *b*) принадлежащих языку высших классов, а впоследствии как особенности c) высокого стиля, находят свое отражение и в самом современном кхари боли. Например:

जलना *jalnā*	«гореть»	जरना *jarnā*	«гореть в лихорадке»
चलना *calnā*	«двигаться»	चरना *carnā*	«двигаться, пастись»
चलाना *calānā*	«двигать»	चराना *carānā*	«двигать, пасти»
हल *hal*	«плуг»	हर *har*	«плуг», особенно в выражении «первая борозда плуга»
पुतली *putlī*	«деревянная кукла, зрачок»	पत्री *putrī*	«дочь, девушка» и т. д.

Если мы вспомним, что врачами были брахманы, что слово पुतली *putlī* принадлежит детскому языку и что корова имела огромное значение в хозяйственной и религиозной жизни Индии, нетрудно будет понять, почему дублеты с र् *r* получили значение форм высокого стиля.

В ряде случаев мы находим аналогичные соотношения значений дублетов с ल् *l* и र् *r* и в санскрите. Таковы, например:

ज्वल् *jval*	«гореть, пылать»	ज्वर् *jvar*	«гореть в лихорадке»
ज्वल *jvala*	«пламя»	ज्वर *jvara*	«лихорадка»
चल् *cal*	«приходить в движение, дрожать, колебаться»	चर् *car*	«двигаться, итти, пастись»
कल् *kal*	«делать, приниматься за»	कर् *kar*	«делать, творить»
लोहित *lohita*	«красный»	रोहित *rohita*	«красный, рыжая лошадь или лань»
म्ला *mlā*	«вянуть»	मर् *mar*	«умирать»
लज्ज् *lajj*	«смущаться, стыдиться»	रज् *raj*	«краснеть»
लघु *laghu*	«быстрый, легкий, незначительный, ничтожный»	रघु *raghu*	«быстрый, название царского рода Рагу»
लाघव *lāghava*	«легкость, легкомыслие»		

Вследствие того, что санскритские словари не всегда дают важные для нас тонкие оттенки значений, а также вследствие того, что грамматики, которыми руководствовались составители словарей, зачастую ставили знак равенства между र् *r* и ल् *l*, часто весьма затруднительно представить семантические оттенки значений. В виде предположения мы можем высказать мысль, что, например, из двух дублетов

रोम *rom* и लोम *lom*,

первоначально в разных диалектах имевших одно и то же значение, после вхождения их в классический санскрит первое имело значение «волосы», а второе «шерсть» и лишь впоследствии они сблизились в своих значениях,

хотя полного совпадения в значениях нет и в настоящее время. Как показывают фразеологические обороты вроде

रोम रोम से = तन मन से «душой и телом»
रोम रोम से आशीर्वाद देना «благодарить от всей души» и др.

где дублет लोम *lom* обычно не употребляется, форма रोम *rom* имеет высокое абстрактное значение.

Ряд санскритских слов с полной ясностью свидетельствует о том, что формы со звуком ल *l* осознавались как элементы словаря низших каст. Например:

उलूखल *ulūkhala*	«ступка»	при	उरू *urū*	«широкий»
उपल *upala*	«верхний камень ручной мельницы»	при	उपरि *upari*	«вверху»
खल *khala*	«злодей, изверг»	при	खर *khara*	«твердый, жесткий»

Сюда же относятся названия различных внутренних органов. Поскольку умерщвление животных и соприкосновение с трупами павших животных впоследствии было делом низших каст, названия внутренних органов встречаются в классическом санскрите только с ल *l*. Например:

क्लोमन् *kloman* «легкие»
प्लीहन *plīhan* «селезенка»
बुली *bulī* «ягодица» и др.

Равным образом со звуком ल *l* выступают названия цветов, в которые производилась окраска:

पलित *palita* «серый»
नील *nīla* «синий»
मल *mala* «грязный»
काल *kāla* «черный»

Совершенно понятно, что детальное рассмотрение проблемы чередования звуков र *r* и ल *l* потребовало бы привлечения значительно более обширного материала, который не мог бы уложиться в рамках небольшой заметки. Здесь даны только немногие, наиболее простые случаи чередования этих звуков.

Мне представляется однако, что и приведенные краткие данные позволяют отнестись скептически к утверждению о безразличном употреблении звуков र *r* и ल *l* и беспричинному нарастанию, а потом падению употребления ल *l* или र *r*.

Формы с र *r* и ल *l*, повидимому, первоначально были характерны для различных локальных диалектов. Однако, так как носители западных диалектов принадлежали на востоке к господствующим классам, поскольку касты брахманов и кшатриев в значительной мере составились из выходцев из западных частей Индии, диалекты которых характеризовались ротацизмом, формы с र *r* стали признаком высших классов общества, а формы с ल *l* признаком диалектов низших классов.

В силу этого, уже в санскрите наметилось семантическое и стилистическое различие дублетов с र *r* и ल *l*, как принадлежащих соответственно к высокому и низкому стилю.

Такое осознание дублетов с र *r* и ल *l* продолжает развиваться, проявляясь и в новых индоарийских языках, где дублеты с र *r* имеют значение форм более высокого стиля, чем форм со звуком ल *l*.

Весьма характерно, что в языке тех авторов, которые избегали высокого стиля, мы не наблюдаем и элементов ротацизма. Таков, например, язык Кабира.

А. и Е. ДРАГУНОВЫ

Дунганский язык

Под термином «дунганский язык» мы понимаем язык одной из многочисленных национальностей Советского Союза, так называемых дунган, потомков китайских мусульман, выходцев из провинций Ганьсу и Шэньси. Во второй половине прошлого столетия, после неудачного восстания, дунгане были оттеснены китайскими войсками на запад, и в 80-е годы часть их перешла границу б. царской России в районе Семиречья и там осела; в настоящее время дунганские поселения входят в состав Киргизской и Казахской АССР.[1]

В основе дунганского языка лежат, как известно, китайские говоры провинций Ганьсу и Шэньси.[2] Эти говоры, к сожалению, еще только начинают изучаться, да и то пока лишь с фонетической стороны,[3] и поэтому делать какие-либо выводы о том, в какой мере язык советских дунган совпадает resp. отличается от этих говоров, а вместе с тем и от языка дунган зарубежных, было бы сейчас несколько преждевременно, по крайней мере в отношении интонационных и грамматических особенностей. Единственное, с чем мы можем в настоящее время дунганский язык сопоставить, это с северным разговорным китайским языком, фонетическая и грамматическая структуры которого более или менее хорошо известны. Сопоставление этих двух языков очень поучительно, так как показывает нам, что расхождение между ними отнюдь не ограничивается областью словаря —

[1] Подробную библиографию о дунганах см. в книге «Материалы для библиографии по антропологии и этнографии Казахстана и среднеазиатских республик» Вознесенской и Пиотровского, гл. 23, №№ 2633—54. Ленинград. О дунганском новом алфавите см. статью А. Драгунова в журнале «Революция и письменность», 1932, № 1—2, стр. 33—37. М. ВЦК НА. О дунганском восстании см. Л. Думан «Русская и иностранная литература (в том числе и китайская) о дунганском восстании 1861—77 гг.» Библиография Востока, т. 7, 1935 г.

[2] Центр ганьсуйского диалекта дунганского языка находится в сел. Александровка Киргизия), недалеко от г. Фрунзе, а Шэньсийского — в сел. Каракунуз (Казахстан) в нескольких километрах от г. Токмака.

[3] См. Karlgren «Études sur la phonologie chinoise», pass.

наличием в дунганском языке большого числа тюркских, а после Октябрьской революции и русских словарных заимствований, — а идет гораздо глубже. Оно затрагивает и фонетическую и грамматическую систему этих языков и дает поэтому право рассматривать язык советских дунган не как один из диалектических вариантов языка китайского, а как самостоятельную лингвистическую величину, качественно от него отличную.

Как и всякий язык, дунганский язык в массе своей неоднороден и варьирует и диалектически и социально. Описание всех этих расхождений не входит в задачу настоящей статьи, и она поэтому в основном отражает особенности лишь того языка, который является теперь ведущим; по линии диалектической — это ганьсуйский диалект, на нем издается литература и ведется обучение, по линии же социальной — это язык дунганского актива, язык передовых колхозников, студенчества и культработников.

В нашей работе предшественников мы не имели, так как дунганский язык до сих пор научно не изучался. Не претендуя на сколько-нибудь исчерпывающий анализ особенностей дунганской речи, настоящая статья ставит своей задачей в общих чертах осветить те моменты в фонетической и грамматической структуре дунганского языка, которые на данном этапе для него наиболее типичны, и тем самым положить начало его дальнейшему научному изучению.

Основой для настоящей статьи послужил материал, собранный во время наших поездок в Киргизию и в Казахстан в 1932 и 1933 гг. и дополненный в Ленинграде во время лингвистических занятий со студентами-дунганами Института Нацмен Советского Востока, главным образом с т. М. Шербой, уроженцем г. Фрунзе.

ТРАНСКРИПЦИЯ

В задачу настоящей статьи не входит детальное фонетическое описание дунганского языка, и мы поэтому пользуемся самой элементарной транскрипцией, требующей лишь немногих замечаний.

ш и *u* передают закрытое resp. открытое *u*. В первом случае губы принимают щелеобразную форму (Spaltform), во втором округлую (Rillenform).

ǯ = *dž*; *з* = *dz*; *č* = *tš*; *c* = *ts*.

b, *d*, *ʒ*, *ǯ*, *g* передают слабые глухие согласные.

p, *t*, *c*, *č*, *k* передают сильные глухие согласные с аспирацией.

å передает очень открытое *o*.

Показатель ^{n} обозначает назализированное произношение предшествующего гласного. Напр., *fä^n*.

Все китайские примеры приводятся в квадратных скобках, дунганские — без скобок.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

I

Основное, что характеризует фонетическую систему дунганского языка, это тенденция к развитию согласных за счет сокращения гласных. Аналогичная тенденция, судя по данным Karlgren'a, наблюдается также и в китайских диалектах провинций Ганьсу и Шэньси,[1] не достигая там, однако, той степени и не приводя пока к тем результатам, которые мы находим в дунганском языке.

Эта тенденция выражается в следующем:

1. Монофтонгизация дифтонгов, как-то: *ao* > открытое *o*, *ai* > ε,[2] *ou* > *u*, *an* > *ä^n*,[3] *aŋ* > *å^n* и т. д.

китайский	дунганский
[*mao*]	*mo*
[*lai*]	*lε*
[*dou*]	*du*
[*gan*]	*gä^n*
[*faŋ*]	*få^n*

2. Исчезновение *i* как первого элемента дифтонга или трифтонга. Если *i* начинало собою слог, то оно спирантизовалось в *j* с дальнейшей тенденцией к палатальному *ž'*; если же оно стояло после согласного, то палатализовало последний и с ним совпало, в результате чего мы имеем в дунганском языке серию согласных мягких *l'*, *d'*, *p'*, *š'*...; противостоящих согласным твердым *l*, *d*, *p*, *š*... чего, как известно, нет ни в одном из современных диалектов Китая.[4]

[1] Op. cit., pass.

[2] В *sandhi* и внутри слова произносится $ε^i$ (с легкой дифтонгизацией). Напр. *lε^i li*.

[3] В *sandhi* дифтонгизуется и легко ассимилируется с последующим согласным в форме *än*, *äm*, *al'* (назализированное палатальное *l'*) и т. п. Напр., *käl'l'i* < *kä^{n}li'*.

[4] Заметим, однако, что фонологически (не фонетически) дело идет не о противопоставлении согласных мягких — согласным твердым, а палатализованных слогофонем — непалатализованным. Будет ли палатализация выражаться при помощи *i* (как, например, в китайском языке), или же будет перенесена на согласный (как в дунганском), является уже делом фонологически второстепенным.

кит.	дунг.
[*iao*]	*jo*
[*iu*]	*ju*
[*dian*]	*d'ä*^{n}
[*bie*]	*b'ε*
[*ciao*]	*č'o*

Аналогичную картину мы имеем и в тех случаях, когда *i* представляет собою единственный гласный слогофонемы:[1]

кит.	дунг.
[*i*]	[*ji*]
[*si*]	[*ś'i*]
[*di*]	[*d'i*][2]

Степень палатализации согласных различна, от легкой смягченности до настоящих палатальных передне-среднего ряда. Рефлексы старого *i* мы находим в вариантах произношения: *b'jo* рядом с *b'o*; *d'jä*^{n} рядом с *d'ä*^{n}.

3. Исчезновение *u* как первого элемента дифтонга или трифтонга. Если *u* начинало собою слогофонему, то оно консонантизировалось в *v* (ср. *i* > *j*) Напр., *uai* > *vε*, *uo* > *və*. Если же *u* стояло после согласного, то оно его лабиализовало, но притом в различной степени. В одних случаях мы находим полное исчезновение *u* и образование качественно новых согласных. Так, *š*+*u* дало *f*; *č*+*u* дало *pf*, *țf* и даже *kf*; *ȝ*+*u* дало *bv*, *d̦v*. Напр.,

Кит.	Дунг.
[*šuo*]	*fə*
[*čuan*]	*pfä*^{n}, *țfä*^{n}, *kfä*^{n}
[*ȝuoзы*]	*bvəзы*, *d̦vəзы*

В других случаях процесс находится еще на полдороге, и, например, сочетание *d*+*u* произносится то как *du*- (с лабиализованным *d*), то как одно-двух-ударное *r*; наконец, в третьих, ограничивается пока лабиализованным произношением согласного при полном сохранении *u*. Напр., *χua*, *guä*^{n}.

[1] Дунганский язык, подобно китайскому, принадлежит к так называемым слоговым языкам, в которых фонологическая и морфологическая делимость не идёт дальше слога. Место нашей фонемы в дунганской фонологической системе занимает поэтому слогофонема.

[2] Ради упрощения, палатализация согласных перед *i* и *y* в дальнейшем отмечаться не будет, а должна подразумеваться.

В тех случаях, когда *u* являлось единственным гласным слогофонемы, оно сузилось в *w*, оказав на предшествующий согласный такое же влияние, как и *u* в виде первого элемента дифтонга. Напр.,

кит.	дунг.
[*šu*]	*fw*
[*gu*]	*gw* (ср. *gou* > *gu*, *dou* > *du*)
[*ču*]	*pfw*, *tfw*, *kfw*
[*u*]	*vw* (ср. *i* > *ji*)

4. Утрата звонкости узкими гласными *ы* (апикальное *ы*) и *w* в неударенном положении и тенденция их к полному исчезновению. Напр.:

šы'tu > *štu* 'камень'[1]
sы'l'å^n > *sl'å^n* 'думать'
pfw'či > *pfči* 'выйти'
šы'l'u > *šl'u* 'гранат' (фрукт).

Чаще всего это явление наблюдается там, где *ы* и *w* находятся между глухими или перед сонорными согласными (см. примеры), но нередко и в других случаях, в паузе и перед прочими согласными. Напр.: *тә č(ы)* 'не ел', *š(ы) duә* 'прибирать'. Морфологическая неразложимость слова (с точки зрения современного дунганина) является также одним из факторов, способствующих исчезновению *ы*, см. выше *š(ы)l'u*, *š(ы)tu*, *s(ы)l'å^n* в наших примерах. В таких же случаях как *čы fä^n* 'есть' [*čы* 'есть' + *fä^n* 'лапша') или *šыli* 'стал мокрым', где не только прозрачен морфологический состав слова, но и сами-то морфемы *čы*, *šы* могут употребляться самостоятельно, в виде отдельных слов, эта тенденция проявляется пока в слабой степени, обычно лишь в быстрой, небрежной речи.

Отметим также произношение слов типа *fazы* 'щетка', *тоzы* 'шапка' (с суффиксом *-zы*) и слов типа *lotfw* 'крыса', *sotfw* 'метла', как *fas(ы)*, *тоs(ы)*, *lof(w)* *sotf(w)*, где мы находим не только глухое произношение, а иногда и отпадение гласных *ы* и *w*, но и потерю звонкости согласным *z*. Хотя это явление зарегистрировано нами пока только в шэньсийском диалекте дунганского языка и притом только у детей и подростков, оно тем не менее симптоматично, так как отражает общую тенденцию дунганского к редукции гласных.

[1] Ударенный слог отмечается вертикальной чертой перед ним.

5. Исчезновение узкого гласного *i* в служебных морфемах — *ni*, *li* в неударенном положении. Напр.:

ni š'εdin(i)ma mεdi? 'ты пишешь или нет?'
*ni käl'l(i)ma mə kä*ⁿ? 'ты смотрел или нет?'
vɔ xə cadin(i) 'я пью чай'.

В быстрой речи наблюдается также некоторая тенденция к редукции *i* в предлоге *gi*. Напр.: *g(i) vɔ* 'мне', *g(i) ni* 'тебе', *g(i) ta* > *g(i) da* (с озвончением *t*) 'ему'.

Нельзя не подчеркнуть важности рассмотренной здесь тенденции, в особенности поскольку она приводит к образованию групп согласных в начале слога, спирантов и аффрикат в конце. Она не только меняет в корне структуру слогофонемы (двойные согласные в современных китайских диалектах неизвестны) и соответственно — звуковой облик языка, но, что еще важнее, таит в себе зародыш перехода от стадии слогофонемной к стадии звукофонемной. Здесь небезынтересно также отметить, что такую же тенденцию к развитию консонантизма и образованию групп согласных констатировал Mostaert в отношении монгольского языка провинции Ганьсу, т. е. как раз одной из тех провинций, выходцами из которых являются дунгане.[1]

Развитие консонантизма за счет вокализма и в особенности тенденция к группам согласных объясняет нам также ту сравнительную легкость, с какой дунгане, в отличие от китайцев, усваивают чужеземное произношение. Это в свою очередь является одним из факторов, способствующих обильному проникновению в дунганский язык слов для новых понятий не путем перевода иноязычных терминов, а путем фонетического заимствования.

II

Подобно китайскому языку, дунганский язык характеризуется наличием тонов и динамического ударения. В отличие, однако, от китайского, где ударение является величиной самостоятельной, не зависящей от интонации,[2] в дунганском языке распределение ударения внутри слова, как правило, подчинено интонации, ею обусловлено, — факт в высшей степени

[1] См. его «Le Dialecte Monguor parlé par les Mongols du Kansu Occidental». Anthropos, t. XXV, 1930.

[2] См. анализ ударения китайских composita в работе Karlgren'a «A Mandarin Phonetic Reader», 1918.

важный, так как отсюда один шаг к тому, чтобы интонационные различия были оттеснены на второй план и были бы заменены различиями в месте ударения.

Проиллюстрируем эту зависимость на разборе ударения дунганских числительных.[1]) Как известно, числительные 1—10 в китайском языке всегда произносятся с сильным ударением на первом слоге, т. е. на знаменательной морфеме, при отсутствии ударения на втором слоге, т. е. на суффиксе.

Напр.: '1' *'igə*, '2' *'liaŋgə*, '3' *'sangə*, '4' *'sыgə*, '5' *'ugə*, '6' *'liugə*...

В дунганском же языке эти числительные с точки зрения распределения ударения распадаются на две группы: на числительные с сильным ударением на первом слоге и неударенным суффиксом (тип —́ —) и числительные с сильным ударением на втором слоге (т. е. на суффиксе) при неударенном (или же слабо ударенном) первом (тип — —́).

тип —́ —	тип — —́
2 *'l'ån*^{3} *gə*	1 *ji*^{1} *'gə*
4 *'sы*^{4} *gə*	3 *sän*^{1} *'gə*
5 *'vw*^{3} *gə*	6 *l'u*^{1} *'gə* [2])
9 *'ǯ'u*^{3} *gə*	7 *či*^{1} *'gə*
	8 *ba*^{1} *'gə*
	10 *šы*(^{2}) *'gə* [3])

Как видно из этой таблички, распределение ударения всецело обусловлено тональностью. Если тон первого слога 3-й или 4-й, то ударение остается на нем, если же тон первого слога 1-й (2-й), то ударение падает на второй слог.[4]) Особенно поразительно при этом то обстоятельство, что сильное ударение может с равным успехом падать как на знаменательную морфему, так и на суффикс. Последнее в китайском языке абсолютно

[1]) Тон слога мы обозначаем маленькими цифрами 1, 2, 3, 4, справа от слога, напр., ma^{3}.

[2]) В китайском языке это слово произносится под 4-м тоном.

[3]) Вопрос о наличии в дунганском языке так называемого 2-го тона (xiaping по китайской терминологии) и о влиянии его на распределение ударения мы оставляем в этой статье открытым, чтобы не осложнять дела. Его цифровое обозначение мы берем поэтому в скобки. По этим же соображениям мы не касаемся здесь таких случаев, как, напр., *jič'ä*^{n} «1000», где и первая и вторая морфемы принадлежат к первому тону.

[4]) Отметим, что ударенный слог в типе —́ произносится сильнее чем ударенный слог в типе — —́. При цифровом обозначении силы ударения первый тип можно было бы символизировать в виде 3—0, а второй тип в виде 0—2 или 1—2. На этом мы остановимся подробно в специальной работе, поскольку сейчас нам важно показать только зависимость ударения от тональности.

невозможно: суффиксы в нем характеризуются именно своей неударенностью.

Особенно эффектно различие в месте ударения проявляется при сравнении произношения числительных вроде 444 и 999 с 333 и 888.

В первом случае мы будем иметь тип —́ — |—́ —| —́ —

444 *'sы^4 bыj* | *'sы^4 šы* | *'sы^4 gə*
999 *'ǯ'u^3 bыj* | *ǯ'u^3 šы* | *'ǯ'u^3 gə*

Во втором случае — тип — —́ | — —́ | — —́

333 *sän^1 'bыj* | *sän^1 'šы* | *sän^1 'gə*
888 *ba^1 'bыj* | *ba^1 'šы* | *ba^1 'gə*

По тому же принципу ударение распределено и в других двухсложных словах.

тип —́ —		тип — —́	
'mo^{4}zы	'шапка'	*fw^1 'zы*	'письмо'
'guə^{3}zы	'яблоко'	*do^1 'zы*	'нож'
'po^{3}li	'побежал'	*fə^1 'li*	'сказал'[1]
'š'ɛ^{3}li	'написал'	*xə^1 'li*	'выпил'
'guə^{3}fw	'яблоня'	*sun^1 'fw*	'сосна'
'kän^{4}ǯ'ä'	'увидеть'	*tin^1'ǯ'ä^n*	'услышать'.

Ту же картину зависимости распределения ударения от интонации мы находим в трех- и в четырехсложных словах. Покажем это на числительных:

Трехсложные числительные

Тип — —́ —	Тип — — —́ [2]
12 *šы 'ər^4 gə*	11 *šыji^1 'gə*
14 *šы 'sы^4 gə*	13 *šыsän^1 'gə*
Тип —́ — —	70 *či^1 šы 'gə*
20 *'ər^4 šыgə*	80 *ba^1 šы 'gə*
90 *'ǯ'u^3 šыgə*	

[1] Под ударением это *i* произносится как очень закрытое *e*.

[2] По ритмическим причинам, чтобы избежать двух неударенных слогов в начале слова первый слог в этом типе часто получает побочное ударение.

Четырехсложные числительные

Тип —́ — | —́ —	Тип — —́ | — —́
22 *'ər^4 šы | 'ər^4 gə*	81 *ba^1 'šы | ji^1 'gə*
24 *'ər^4 šы | 'sы^4 gə*	83 *ba^1 'šы | sän^1 'gə*
Тип —́ — | — —́	Тип — —́ | —́ —[1]
21 *'ər^4 šы | ji^1 'gə*	82 *ba^1 'šы | 'ər^4 gə*
23 *'ər^4 šы | sän^1 'gə*	84 *ba^1 'šы | 'sы^4 gə*

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В отличие от китайского языка, грамматическая система дунганского языка характеризуется значительно большей степенью агглютинации и соответственно с этим значительно большей степенью оформленности грамматических категорий. В этом отношении особый интерес как с точки зрения тех процессов, которые происходят сейчас в дунганском языке, так и с точки зрения расхождений между дунганской и китайской грамматическими системами, представляет вопрос о связке, суффиксе *-хыn* и глагольном оформлении. На этом мы в настоящей статье и остановимся.

I

Суффикс *-sы*

В китайском языке, как известно, предложения с именным сказуемым типа 'этот человек рабочий' выражаются при помощи связки [*šы*], диалектически [*sы*]. Говорят [*ǯəgə žən šы igə guŋžən*] 'этот человек есть рабочий'. В дунганском языке, в отличие от китайского, связки, как отдельного слова, уже не существует, функции ее перенесены на предикативную паузу, а сама она превратилась в своего рода агглютинированный суффикс, примыкающий непосредственно к предшествующему слову, которое может и не быть подлежащим предложения. Говорят *ǯəgə žыnsы* || *kwxä^n* 'этот человек (есть) || рабочий', *ǯəgə žыn* || *busы kwxä^n* 'этот человек || не-(есть) рабочий'.

Как и всякий суффикс, это *-sы* немыслимо без предшествующего ему слова. На вопрос *sыj ko mыndini?* resp. [*šui kiao mən?*] китаец может

[1] По ритмическим причинам, чтобы избежать столкновения двух сильно ударенных слогов, ударение второго слога иногда ослабляется, а первый слог получает побочное ударение.

ответить [*šы wo*] 'есть я' или [*šы ta*] 'есть он', дунганин же, в языке которого -*sы* не является отдельным словом, ответить *sы vә* или *sы ta* не может и должен сказать просто *vә* 'я', *ta* 'он', — факт очень важный, так как представляет собою одно из проявлений присущей дунганскому языку тенденции к полной бессвязочной предикативности. Как и все другие дунганские суффиксы, это -*sы*, далее, может быть ударено resp. неударено в зависимости от тона слова, к которому оно примыкает. Так, в предложении *ǯәgә 'masы || vәdi* 'эта лошадь есть || моя' суффикс -*sы* неударен, поскольку слово *ma* произносится под третьим тоном, и следовательно *masы* в целом идет по типу ⸗ —, в предложении же *ǯәgә*[1] *fu'sы || vәdi* 'эта книга моя' суффикс имеет на себе сильное ударение, поскольку слово *fu* произносится под первым тоном, и *fusы* в целом идет по типу — ⸗.

Генетически восходя к связке, суффикс -*sы* утрачивает, если не утратил уже свое копулятивное значение. Это доказывается тем в высшей степени интересным обстоятельством, что в отрицательных предложениях[2] суффикс -*sы* может стоять одновременно и после отрицания (что обязательно) и после подлежащего (что факультативно). Рядом с *ǯәgә žыn || bиsы kuxäⁿ* 'этот человек || не-(есть) рабочий' можно услышать с тем же значением *ǯәgә žыnsы || bиsы kuxäⁿ*.

В китайском языке конструкция подобного рода в этом значении была бы невозможна. С другой ритмической группировкой морфем [*ǯәgә žәn šы-bu-šы guŋžәn?*] она выражала бы вопрос 'не рабочий ли он?', что в свою очередь по-дунгански выражается при помощи специальной вопросительной морфемы -*ma*. Говорят: *ǯәgә žыnsы || kuxän-ma, bиsы kuxäⁿ?* 'этот человек (есть) рабочий ли, не есть рабочий?'

Одновременное употребление суффикса -*sы* и при субъекте, и при отрицании ограничено или, вернее, обусловлено теми случаями, когда подлежащим является существительное. При подлежащем-местоимении оно невозможно. Говорят только *ta bиsы kuxäⁿ* 'он не (есть) рабочий', но никак не *tasы bиsы kuxäⁿ*.

[1] В отличие от китайского языка, в дунганском языке (по крайней мере в языке молодого поколения) уже перестают различаться «классы» существительных и поэтому счетные и детерминативные слова обычно оформляются на суффикс -*gә*. Говорят *ǯәgә fu*, «эта книга», *ǯәgә bvәzы* «этот стол», *ǯәgә gu* «эта собака». Ср. с этим китайские [*ǯәbәn šu; ǯәǯaŋ ǯuozы; ǯәtiao gou*].

[2] А также и в предложениях с другими наречными словами, стоящими между подлежащим и сказуемым.

Основную роль в этом играет, повидимому, то обстоятельство, что суффикс *-sы* не только утрачивает свое копулятивное значение, но имеет еще некоторую тенденцию к взаимному смешению с распространеннейшим суффиксом существительных *-zы*, никакого копулятивного значения не имеющим и у местоимений невозможным. Это видно как из того, что предложения типа *ʒəgə kuɛzыsы*||*vədi* произносятся обычно или *ʒəgə kuɛsыsы*||*vədi* или же в виде *ʒəgə kuɛsы*||*vədi*,[1] так и из того, что вместо напр., *ʒəgə žыnsы*||*kwxäⁿ* можно иногда услышать и *ʒəgə žыnzы*||*kwxäⁿ*, с озвонченным суффиксом. Немаловажное значение имеет также и различное место предикативной паузы при подлежащем-существительном и при подлежащем-местоимении. В первом случае пауза находится перед отрицанием, во втором же случае — после него, и подлежащее-местоимение составляет, следовательно, с отрицанием одно фонетическое целое. Можно сказать *ma*||*busы jɛsыn* 'лошадь||не (есть) дикое животное' но только *ta busы*||*kwxäⁿ* и отнюдь не *ta*||*busы kwxäⁿ*.

Все вышесказанное относится и к тем случаям, когда именное сказуемое выражает не тожество предиката с субъектом, а качество последнего, с тем, однако отличием, что в случаях этого рода суффикс *-sы* может быть после подлежащего вовсе опущен.

Говорят *ʒəgə fwfåⁿ*||*xo fwfåⁿ* 'эта школа||хорошая школа' равно как *ʒəgə fwfånsы*||*xo fwfåⁿ* 'эта школа (есть)||хорошая школа' или же, в отрицательных предложениях, *ʒəgə fwfåⁿ*||*busы xo fwfåⁿ* 'эта школа||не (есть) хорошая школа', равно как *ʒəgə fwfånsы*||*busы xo fwfåⁿ* 'эта школа (есть)||не (есть) хорошая школа'.

II

Суффикс *-xыn*

Одним из наиболее обычных слов, выражающих степень интенсивности того или иного признака, является в китайском языке слово [*xən*] 'очень, весьма', функционирующее и в виде аттрибута [*xən gaodi šan*] 'очень высокая гора' и в виде предиката [*šan gaodi xən*] 'гора высока очень = гора очень высока'.

В отличие от китайского, в дунганском языке самостоятельность этого слова утрачена, и оно, подобно связке, превратилось в суффикс.

[1] Ср. с этим полное исчезновение суффикса *-sы* в предложениях типа *ʒəsы sa?* «это (есть) что?», произносящихся обычно как *ʒəsa?*

Это видно из того, что, как и любой суффикс, *-хьп* неотделимо от того прилагательного, к которому оно примыкает, и тем более не может стоять перед ним. В дунганском языке неупотребительны, следовательно, такие обычные для китайского языка аттрибутивные конструкции, как [*хэп gaodi*, *хэп dadi*], а допустимы лишь конструкции типа *godiхьп, dadiхьп.*

В связи с утерей самостоятельности изменилось в дунганском языке и значение *-хьп*. В противоположность китайскому языку, где наречие [*хэп*] в конструкции типа [*dadi хэп*] в полной мере сохраняет свое интенсивное значение,[1] дунганский суффикс *-хьп* это значение утрачивает (вернее, почти, утратил) и в настоящее время может рассматриваться как морфологический показатель предикативно выраженного постоянного признака предмета, предикативного прилагательного. Формы на *-хьп* — *godiхьп, lьпdiхьп* — не столько уже значат сейчас «очень высокий», «очень холодный», сколько просто «высокий», «холодный». Поэтому в тех случаях, когда степень интенсивности признака необходимо специально подчеркнуть, наличия одного только суффикса *-хьп* оказывается недостаточно, и к формам на *-хьп* в виде аттрибута добавляется наречие *tε*, в свою очередь снизившее свое значение с 'крайне' на 'очень'. Говорят *tε godiхьп* 'очень высокий', *tε lьпdiхьп* 'очень холодный'.

Утрата суффиксом *-хьп* интенсивного значения подтверждается также тем интересным обстоятельством, что прилагательные, оформленные на этот суффикс, употребляются прежде всего там, где дело идет не просто о постоянном признаке предмета, но о признаке для данного предмета специфичном, для него характерном, и где, следовательно, интенсивность признака именно в силу своего постоянства и неотделимости от предмета уже перестала ощущаться как таковая. Оформление на *-хьп* является поэтому излюбленным способом для передачи по-дунгански таких труизмов как 'соль соленая' или 'сахар сладкий'. Говорят:

jäⁿ xändiхьп	'соль соленая'
tåⁿ t'ändiхьп	'сахар сладкий'
dunni lьпdiхьп	'зимой холодно'
tadi šu č'åndiхьп	'его руки длинны'.[2]

[1] О грамматической роли слова [*хэп*] в китайском языке и об утрате этим словом в конструкциях типа [*šan хэп gao*] «гора (очень) высока» интенсивного значения, см. нашу статью «Грамматические категории в китайском языке». (В печати.)

[2] В переносном смысле употребляется в значении «он драчун, забияка».

Сюда же относится употребление суффикса *-хын* и в таких случаях, как *mo nε dε lopfwdixын* 'кошка любит ловить мышей' или *ta nε čы jändixын* 'он любит курить', поскольку в предложениях этого типа дело идет не столько о действии как таковом, сколько опять-таки о постоянно свойственном данному предмету признаке, о признаке, для него характерном. В случае необходимости интенсивность признака подчеркнуть, здесь также добавляется наречие *tε*. Говорят *ta tε nε čы jändixын* 'он очень любит курить'.

Несколько сложнее обстоит дело в тех случаях, когда речь идет о признаке хотя и постоянном, но не характерном для данного предмета, вроде 'карандаш короткий'. Поскольку предложения этого типа по-дунгански передаются обычно конструкцией типа *ǯəgə gεrän(sы) duäⁿ gεräⁿ* 'этот карандаш (есть) короткий карандаш', постольку форма на *-хын* [*gεräⁿ duändixын*] не лишена еще некоторой доли интенсивности, правда очень слабой и почти исчезающей. Последнее подтверждается тем, что в случае необходимости интенсивность признака подчеркнуть, опять-таки наличия одного *-хын* оказывается недостаточно, и добавляется наречие *tε*. Говорят *gεräⁿ tε duändixын* 'карандаш очень короток'.

III

ОФОРМЛЕНИЕ ГЛАГОЛА (ПРЕДИКАТИВА)

В дунганском языке, как и в китайском, в основе значения категории глагола (предикатива) лежит не идея действия или процесса, а идея изменчивости, переменности признака.[1] В отличие, однако, от китайского языка, где эта идея может создаваться вещественным значением словосочетания,[2] видо-временными показателями[3] и, наконец, путем явного или подразумеваемого противопоставления двух признаков,[4] в дунганском языке одного только вещественного значения словосочетания оказывается уже недостаточно для выражения этой идеи, и поэтому там, где глагол (предикатив) является единственным или последним сказуемым во фразе,[5] он

[1] Подробности об этой грамматической категории см. в нашей статье, цитированной выше.

[2] Тип [*ta зou*] 'он идет' или [*tianki ləŋ*] 'погода холодна'.

[3] Напр. [*ta laila*] 'он пришел', [*tianki ləŋla*] 'погода стала холодной'.

[4] Типы [*ǯuoзы da, isы siao*] 'стол велик, а стул мал' или [*šan xən gao*] 'гора (очень) высока'.

[5] Под фразой мы, вслед за Пешковским, «Русский синтаксис», 3-е изд., понимаем всякий отрезок речи от одной разделительной паузы до другой, независимо от того, из скольких предложений он состоит.

должен быть обязательно оформлен тем или иным видо-временным показателем.[1] Напр.:

а) *ta зu-dini* 'он идет'
ta ju č'än-ni 'он имеет деньги'
ve mεxa-li 'я купил'

б) *vava čы jäⁿ, dada känʒ'äⁿ, зu da-ni* '(если) мальчик курит (и) отец увидит, то побьет'.

ʒəgə vava ba čububu dεxäⁿ, čububu sыd'o-li 'этот мальчик поймал удода, (а) удод сдох'.

В отличие от китайского языка, по-дунгански нельзя, следовательно, сказать в виде законченной фразы *ta зu* 'он идет', а можно сказать лишь *ta зu-dini*, нельзя сказать просто *vә ju č'äⁿ* 'я имею деньги', а можно сказать лишь *vә ju č'än-ni* и т. д. Аналогично обстоит дело и с глаголами со словарным значением качества, вроде *da* 'быть большим' или *žә* 'быть горячим', с тем, однако, отличием, что там, где налицо имеется явное или подразумеваемое противопоставление или сравнение двух признаков, оформление при помощи суффиксов в глаголах этого типа может и отсутствовать, поскольку характерная для дунганского (и китайского) предикатива идея переменности, непостоянства признака находит себе в этих случаях (что, впрочем, имеет место и в китайском) достаточно четкое выражение в самом факте противопоставления как таковом.

Можно сказать без всякого оформления *ʒәgә xuәlwzы l'äⁿ, nεgә žә* 'эта печка холодная, а та горячая' или *xuәlwzы žә bu žә? — xuәlwzы žә.* 'печка горячая или нет?' — 'печка горячая', поскольку в обоих этих случаях имеет место сравнение двух признаков. Взятое же само по себе, вне сравнения с чем-то другим, словосочетане *xuәlwzы žә* оставляет ощущение чего-то незаконченного, явно противоречит языковому чутью говорящих и требует обязательного оформления на тот или иной суффикс. Предложение *xuәlwzы žә-dini*, 'печка горячая' (в данный момент), представляет собою такое же законченное целое, как *vә зu-dini* 'я иду' или *ta š'ε-dini* 'он пишет'.

[1] Во избежание недоразумения укажем, что дунганский глагол может быть оформлен не только при помощи суффиксов (*li, ni, dini, guә, di*, включая сюда и нулевой суффикс, специфичный для императива), но также и при помощи отрицаний с видо-временным значением: *bu, mә, bә*. Предложение *ta bu xә ʒ'u* «он не пьет (не имеет этой привычки) и не будет пить» представляет в дунганском языке такое же законченное целое, что и *ta xә ʒ'u-ni* 'он пьет (имеет это обыкновение) и будет пить в будущем'.

В силу своей обязательной оформленности, дунганские переходные глаголы гораздо менее нуждаются в «пустых» объектах, чем глаголы китайские. По-китайски говорят [*wo čы fan*] 'я ем еду' или [*wo sie зы*] 'я пишу буквы', поскольку сказать просто [*wo čы*] или [*wo sie*] далеко не всегда возможно; по-дунгански же, в силу морфологической оформленности глагола, особой необходимости в «пустом» объекте нет, и поэтому рядом с *vә čы fändini* или *vә š'ε зыdini* можно сказать и просто *vә čыdini* и *vә š'εdini*.

С обязательной оформленностью дунганского глагола связан также важный синтаксический вопрос о месте прямого дополнения. В дунганском языке, как и в китайском, прямое дополнение может только тогда стоять перед глаголом, когда последний оформлен.[1] Поскольку, однако, дунганский глагол оформляется гораздо чаще, чем глагол китайский, постольку в дунганском языке создается гораздо бо́льшая возможность для постановки прямого дополнения перед сказуемым, и поэтому то, что в китайском языке является своего рода «исключениями», в дунганском языке становится уже нормой.

---

[1] Оформление в этих случаях может итти как по линии видо-временных показателей типа кит. [*la*] дунг. *li*, так и по линии перфективности типа *kä*^{n} 'смотреть' ∾ *känž'ä*^{n} 'увидеть'.

Я. С. ВИЛЕНЧИК

Система гласных в народно-арабском языке горожан Сирии и Палестины

Настоящая заметка имеет своей задачей выяснить стандарт существующих гласных разговорно-арабского языка горожан Сирии и Палестины, именно, Бейрута, Дамаска и Иерусалима с целью установления исходной транскрипции для готовящегося словаря народно-арабского языка. К решению вопроса привлечены данные, приводимые у Mattsson'а (для Бейрута),[1] Bergsträsser'а (для Дамаска)[2] и Bauer'а (для Иерусалима),[3] равно как и другие источники, в том числе касающиеся деревенских говоров.[4] Гласные рассматриваются по группам, исходя из их современного качества и количества. В отношении ударения следует иметь в виду, что в народном языке Сирии и Палестины помимо главного ударения важную роль играет ударение подсобное. Последнее получают все закрытые слоги, предшествующие главному ударению, и каждый второй открытый слог перед главным или подсобным ударением. Неударенными являются, следовательно, лишь открытые слоги непосредственно перед главным или подсобным ударением, или слоги, следующие за главным ударением.

Группа *a*

Из долгих гласных этой группы для Бейрута засвидетельствованы три варианта: $\bar{æ}$; $\bar{\dot{a}}$ — в определенных случаях после заднеязычных и радикальных (артикулируемых с помощью корня языка) согласных, а также

[1] Mattsson, E. Études phonologiques sur le dialecte arabe vulgaire de Beyrouth. (Upsala 1910) 118 p. [Archives d'Études Orientales publiées par J. A. Lundell, 1].

[2] Bergsträsser, G. Zum arabischen Dialekt von Damaskus. I. Phonetik. Prosatexte. (Hannover 1924) IV + 111 p. [Beiträge zur semitischen Philologie und Linguistik, 1].

[3] Bauer, L. Das Palästinische Arabisch. Die Dialekte des Städters und des Fellachen. Grammatik, Übungen und Chrestomathie. 4. Aufl. (Leipzig 1926) X + 264 p.

[4] Feghali, M. T. Le parler de Kfar 'Abîda (Liban-Syrie). Essai linguistique sur la phonétique et la morphologie d'un parler arabe moderne. (Paris 1919) XV + 307 p.

после *r*; *ā* — в соседстве с веляризованными переднеязычными [Mattsson, 65—72]. Для Дамаска можно принять те же самые оттенки, с тем отличием, что тембр *ǣ* больше приближается к *ā̈*, хотя Bergsträsser, упомянув об этом в фонетической части своей книги [р. 28], употребляет в текстах один лишь *ā̈*. Таким же образом поступает и Bauer [§ 8].

При решении вопроса о том, какие из вариантов долгого *ā* следует зафиксировать в транскрипции, мы должны руководствоваться функциональной их значимостью в системе данного диалекта. Хотя у нас нет примеров, где различие в гласном *ǣ*, *ā̈* или *ā* повлекло бы за собой изменение значения слова, мы всё же имеем основание полагать, что два оттенка: *ǣ* и *ā* (или *ā̈*) формально различаются как две независимые друг от друга фонемы. Дело в том, что наблюдаются случаи наличия *ǣ* там, где мы бы ожидали *ā* или *ā̈*, напр. *səjjǣ́d* «охотник, рыболов» [Mattsson, 72; 90; Feghali, 84; Huxley || JAOS 23 (1902) № 113], *dabǣ́b* «туман» [Hartmann, Sprachführer (1881) 66; 229] и др.; окончание множественного числа женского рода имеет часто форму *-ǣ́t* даже в словах с веляризованными переднеязычными, напр. *caǰǣ́t* «отрезки парчи», *ṭawlǣ́t* «столы» [Mattsson, 71], *caлwǣ́t* «молитвы» [Feghali, 209] и др. Перед нами явление, известное в лингвистике под названием формальной аналогии и состоящее в том, что отдельные закономерно возникшие, но редко появляющиеся формы переиначиваются по образцу идентичных по значимости, но отличных по внешности форм, которые более часто встречаются и поэтому принимаются за норму. В примере с *səjjǣ́d* речь идет о тенденции устранить из грамматической системы всякие фонетические варианты формы *kerrǣ́m*, означающей действователя, напр. *kərrā́m* [в данном случае закономерную форму *səjjā́d*, которая также встречается: Hartmann, Sprachführer (1881) 184; 208; 339]. В ливанских диалектах, описываемых Feghali, такие случаи еще более распространены: в деревне *ẓəlta*, напр. долгий *ǣ* проник даже в те формы слабых глаголов, где обычно после *q*, *ġ* или *x* имеется *ā*, напр. *qǣ́l* «сказал», *xǣ́f* «боялся» и т. п. [Feghali, 95n1.] С другой стороны, мы не находим ожидаемого *ǣ* в заимствованных словах, как *bā́ʃa* «паша», *kənjā́k* «коньяк», *ẓəlmā́ni* «немец», хотя отсутствие заднеязычных или веляризованных переднеязычных обязательно вызвало бы *ǣ*, если бы его появление было обусловлено одной лишь позицией. Следовательно здесь, как и в вышеприведенных примерах аналогии, имеет место сознательная замена закономерного оттенка другим, который ощущается

как отличный от первого. Это дает нам право говорить о двух различных фонемах $\bar{æ}$ и $\bar{a}$.

Без ударения $\bar{æ}$ и $\bar{a}$ являются фактически краткими гласными, но так как старые краткие в этих же случаях, т. е. без ударения, появляются в более или менее редуцированном виде, то различие между неударенной краткостью и неударенной долготой все же остается, и краткие *æ* и *a* психологически выполняют функции неударенных долгих [см. Докл. Акад. Наук СССР, В (1927) 2—4]. Мы их условно будем обозначать как полудолгие гласные.

Для краткого *a* под ударением в Бейруте в закрытом слоге преобладает оттенок *æ*, исключая случаев, где гласный находится в соседстве с веляризованными переднеязычными, *w*, или радикальными согласными; тогда налицо оттенки *.a* и *a*. В открытом слоге преобладает передний *a* с теми же вариантами [Mattsson, 75]. В Дамаске в закрытом и открытом слогах нормальным является *a* переднего образования. Этот звук, в зависимости от окружающих согласных, варьирует от открытого *e* до глухого *a* заднего образования [Bergsträsser, 22—27]. В Иерусалиме, как и в Дамаске, нормальным является *a*, с колебанием от *æ* до *a*, в соответствии с окружающими согласными [Bauer, 10—11].

Без ударения краткий *a* в Бейруте приближается к нейтральному *a*, подвергаясь при этом большей или меньшей редукции как количественной, так и качественной. Этим и объясняется своего рода гармонизм, благодаря которому неударенный *a* в субъективно-акустическом восприятии получает оттенок ударенного гласного соседнего слога [Mattsson, 75]. В Дамаске здесь также наблюдается неопределенный *a* [Bergsträsser, 24, 15—20]. Для Иерусалима у Bauer'а сведений нет.

В обеих последних группах мы имеем перед собой более или менее субъективные варианты основного краткого гласного, зависящие от его позиции и не являющиеся фонемами, т. е. не имеющие функционального значения в системе языка. Можно поэтому передать все эти оттенки одним знаком *a*, придав ему значение открытого краткого гласного не вполне устойчивого качества.

В особом положении находится тот гласный, который Feghali в своем «Parler» передает через *ę* (с вариантом *ə* в соседстве с веляризованными переднеязычными и губными согласными), напр. *jə̀ʒmęl* ← **jə̀ʒməl*, *sfárʒęl* ← **safárʒal*. Как видно из приведенных примеров, в этом гласном отражаются как старый *i*, так и *a*. Дело в том, что в данном говоре *a*

в закрытом слоге после ударения, в соответствии с общей редукцией неударенных гласных, предварительно сократился в ә, ср. γácbәn ǵánno «против его, воли» [Бейрут, христиане: Mattsson, 61; 86; Бхамдун на Ливане: Mattsson ||MO 8 (1914) 20, 15; палестинские феллахи из Лифты: Bauer, 190, 55], из и на ряду с γácban в некоторых других диалектах [Дамаск: Malinjoud, Guide 1 (1925) 93; Бейрут (мусульмане?): Hartmann, Sprachführer (1881) 332; Иерусалим: Bauer, 67; 90; 160, 3]. Возникновение ливанского *sfárʒẹl* рисуется следовательно в виде: *sfárʒẹl* ←**sfárʒәl* ←**safárʒal*. Но сейчас этот гласный *ẹ* ливанского диалекта, хотя и происходит непосредственно из гласного группы *i*, воспринимается как редукция долгого *ǣ*, что явствует из следующего: от приведенной формы настояще-будущего времени (долженствующего наклонения) *jә́ǵmẹl* «ему носить» (параллельно старо-арабскому *jáǵmilu*) производится форма повелительного наклонения *ǵmǽl* [ср. ст.-ар. *ʔíǵmil*, Feghali, 134]; на ряду с дамасской формой *ʔahlén u sahlén* «милости просим» [Bergsträsser, 33, 35, с удлинением гласных последних слогов из **ʔáhlen u sáhlen* ← **ʔáhlәn u sáhlәn* ← **ʔáhlan wa sáhlan*, ср. форму повелит. накл. *lbés*, вновь образованную по примеру формы долженствующего наклонения *jә́lbes* ← **jә́lbәs*], Feghali, 120, приводит форму *ʔahlǽn wa sahlǽn*, ошибочно полагая, что имеет дело с литературным произношением; эта же форма исключает возможность образования *ʔahlén u sahlén* по примеру форм двойственного числа (ср. *marǵabtén* от *márǵaba* «милости просим!»). Если бы дело обстояло так, то мы бы имели в диалекте Feghali **ʔahlájn wa sahlájn*, так как там дифтонги сохранились; больше того, мы бы могли ожидать форму **ʔahәltájn wa sahәltájn*, так как новообразование *marǵabtén* вызвано тем, что конечный гласный формы *márǵaba*, происходящий от окончания винительного падежа, был воспринят как окончание женского рода.[1]

[1] Аналогичным путем возникли формы вроде *baǵdén* «затем» ← **báǵden* ← *báǵdәn* ← *báǵdan*, ср. фелл. *bә̀ǵdәn bә́jra* «послезавтра» [Bauer, 93], а также *kullín*, *kullén* [Landberg, Études sur les dialectes de l'Arabie méridionale. I. Ḥaḍramoût (Leide 1901) 704] из *kúllin*, resp. *kúllen* ← **kúllan*. Различие этих форм, происходящих из двух диалектов, в одном из которых — как в Бейруте — *i* в закрытом слоге после ударения сохранил свое качество, в другом же он, как в Дамаске, перешел в *e*, подтверждает возникновение их именно посредством удлинения и ударения первоначально кратких и неударенных гласных.

Группа *i*|*u*|*e*|*o*

О долгом *ū* особенно распространяться в данном месте не приходится, так как сомнений в том, каким образом его передать, нет. То же относится и к долгому *ō*, который мы берем как для обозначения слившегося дифтонга *aw*,[1] так и для долгого гласного, вновь образованного из послеударного *o*. Краткие *u* и *o* мы будем, как и краткие *æ* и *a*, условно рассматривать как полудолгие (о послеударном кратком *o* см. также ниже).

В отношении бейрутского долгого *ī* имеется указание Mattsson'а, 73—74, на наличие двух вариантов: *ī* и *ȳ* (= русский *ы*), из которых последний появляется в соседстве с веляризованными переднеязычными. Этот вариант (как и *ī*) известен также и в Дамаске [Bergsrtässer, 28, 39—42] и Иерусалиме [Bauer, 11, § 9], но здесь он появляется не только в соседстве с веляризованными переднеязычными, но и после заднеязычных и радикальных согласных. В соответствии с этим мы принимаем два варианта, первый из которых мы будем передавать через *ī*, а второй через *ȳ*.

Такое же различение целесообразно провести и для гласного, получившегося в результате слияния дифтонга *aj* или удлинения послеударного *e*.[1] Их мы предполагаем передать знаками *ē* и *ə̄* (в соседстве с веляризованными переднеязычными и после радикальных согласных).

В отношении кратких *i*, *y*, *e*, *ə* имеет силу сказанное выше в связи с прочими долгими гласными. Их можно условно рассматривать как полудолгие гласные, выполняющие функции неударенных долгих.

В группе кратких гласных под ударением, соответствующих классическим кратким *i*|*u*, в нашем диалекте, как и вообще в народно-арабском языке, сохранено старое состояние, различение лишь одного редуцированного гласного, получающего свою акустическую характеристику от окружающих его согласных [Brockelmann, Grundriss 1 (1908) 144, § 52 abc]. Для Бейрута эти субъективные варианты зафиксированы в виде: *i* — «нормальное» произношение; *i* открытого — в соседстве с *ʻ* из *q*, *x*, и *γ*, а также с губными и под отдаленным влиянием веляризованных переднеязычных; *e* и *y* (= русский *ы*) — рядом с *ɛ* и *ɛ̄*; *ы* (= делабиализованный *u*) — в ближайшем соседстве с веляризованными переднеязычными [Mattsson, 77—82]. Для Дамаска Bergsträsser в текстах дает как *i*, так и *u*, но в фонетической части своей книги [см. стр. 7 след. и, особенно,

[1] Условно мы пишем *o* и *e* также и для Бейрута, хотя здесь, как известно, слияния дифтонгов не происходит.

первое дополнение на стр. 109] оговаривает, что это сделано скорее на основании теоретических рассуждений с привлечением звукового состава родственных языков, чем согласно действительного положения. Примерно такая же картина получается и для Иерусалима, если исходить из приводимого Bauer'ом фактического материала (напр. *dinja*, *ḥilu*, с одной стороны, и *wúǧaʿ*, *ʿonub*, *muftāḥ*, *úḫutak*, с другой), вследствие чего представляется целесообразным передать гласные этой группы через знак шва — *ə*, определив его как редуцированный гласный, тембр которого целиком зависит от окружающих согласных, равно как и от гласного соседнего слога (ср. вышеприведенные *ʿonub* = *ɡ̌ənob*, *úḫutak* = *ъəxutak*).

Без ударения гласные этой группы в открытых неударенных слогах исчезли, и речь поэтому может итти лишь о неударенных гласных в закрытом слоге после главного ударения. В тех случаях, когда перед нами старый гласный; т. е. не вторичного характера, между *i* и *u* делается определенное различие, причем их оттенки передаются Mattsson'ом соответственно через *i*, *i* открытое и *e* для старого *i* и *u* для старого *u*. Сходное с этим состоянием можно предположить и для Иерусалима, для Дамаска же имеем закрытые *e* (с вариантом у веляризованных переднеязычных и после заднеязычных и радикальных согласных [Bergsträsser, 21, 4—10], который мы будем обозначать через *э*, см. выше) и *o* [id., 20—21]. Эти гласные отличаются очень явственным произношением [Mattsson, 77—78, Bergsträsser, 20, 23—24] и в подходящих случаях, напр. в односложных формах повелительного наклонения, достигают полной долготы (*lbēs*, *ktōb*, при *jəlbes*, *jəktob*), что дает основание рассматривать их в системе данного диалекта современного народно-арабского языка как неударенные долгие гласные и соответственно передать через *e* и *э*, и *o* (условно также и для Бейрута и Иерусалима).

Наконец к группе *i*|*u* относится неударенный редуцированный гласный, вторично возникший при определенных условиях [см. Докл. Акад. Наук СССР, В (1928) 260—4]. Поскольку его тембр, как и тембр ударенных кратких группы *i*|*u*, целиком зависит от окружающих согласных, мы будем передавать его тем же знаком *ə*.

Специального упоминания заслуживает краткий гласный группы *i*, появляющийся в конце определенных форм, напр. в окончании женского рода. Он передается Mattsson'ом через *i*, Bergsträsser'ом и Bauer'ом через *e*. Поскольку исходную форму нынешнего окончания женского рода можно определить в виде **-aẖ* → **-ā*, мы имеем дело с редукцией долгого гласного *ā*, сходной с тем, что произошло в форме *ʃəte* «зима» (на ряду

с *ʃə́ta* из **ʃətā̆* ← **ʃətā́ъ*), т. е. перед нами еще один случай перехода неударенного *a* в *ə*, на этот раз долгого. Сохранение при веляризованных переднеязычных и радикальных согласных старого качества окончания женского рода в виде *a* имеет свою полную аналогию в диалекте Kfar ʻAbîda, где на ряду с *kę́sęb* (← **kə́seb* ← **kásəb* ← **kásab*) мы имеем *dáxal*, *dárab* [Feghali, 92]. Этим самым опровергается этимология Bergsträsser'a, 20, 21—3, по мнению которого налицо окончание *-e*, возникшее будто бы в закрытом неударенном слоге после главного ударения, надо полагать из **-ih* (?); но **-ih* дало бы прежде всего **-ī*, с дальнейшим сокращением в *-í* [ср. *fwǽki* ← **fawākih*]. Мы поэтому будем передавать окончание женского рода через *e* и *a* (после веляризованных переднеязычных и радикальных согласных).

Не совсем ясен вопрос об обозначении окончания нисбы **-ī* и т. п. Наличие форм *maʒəttḗn* «две меджидии», *kə́rəsti* «мое кресло» и т. п. постулирует формы *maʒíde*, *kə́rse*. Требуется, однако, предварительно точно установить, каким диалектам принадлежат обе приведенные формы. Если они из диалекта крестьян, где редукция захватила в известных случаях и долгие гласные, то мы для горожан, конечно, должны писать *maʒídi*, *kə́rsi*, в противном же случае остается *maʒíde*, *kə́rse*.

ВЫВОДЫ

Состав гласных народно-арабского языка горожан Сирии и Палетины выявляется, таким образом, в следующем виде:

Долгие под ударением *ǽ̄ ā́ ū́ ṓ ī́ ȳ́ ḗ ə̄́*

Полудолгие (= долгие без ударения) *ǣ ā ū ō ī ȳ ē ə̄*

Краткие под ударением *ắ ə̆́*

Редуцированные (= краткие без ударения) *ă ə̆*.

Здесь обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, долгие и полудолгие гласные, будучи качественно идентичными, отличаются друг от друга только в количественном отношении, последнее же находится в прямой зависимости от ударения; под ударением — долгота, без него — полудолгота; знак ударения, следовательно, определенно указывает, что данный гласный долог, и, наоборот, отсутствие знака ударения характеризует гласный как полудолгий. Во-вторых, долгие и полудолгие гласные, с одной стороны, и краткие и редуцированные, с другой, отличаются друг от друга не столь количественно (ср. сказанное выше об условно полудолгих, фактически же кратких гласных), сколько качественно: *a*, *ə* никогда

не бывают долгими, и наоборот, долгие или полудолгие, сохраняя свое качество, никогда не становятся функционально краткими; нет нужды, поэтому, выявлять в транскрипции их количественные отличия, т. е. можно отказаться в практической транскрипции от употребления знаков долготы или краткости. Тогда у нас получится следующая упрощенная система гласных диалекта горожан, вполне соответствующая фактическим взаимоотношениям их:

Долгие под ударением *ǽ á и́ ó í ý é э́*

Полудолгие (= долгие без ударения) *æ a и o i у e э*

Краткие под ударением *á ə́*

Редуцированные (= краткие без ударения) *a ə*

Вместо системы количества, преобладающей в вокализации литературного арабского языка, в народном языке господствует система преимущественно качественных отличий.

14 июня 1933 г.

МАТЕРИАЛЫ И ОБЗОРЫ

И. И. ГИНЦБУРГ

Рукописная еврейская версия Mīzān al-ʿamal аль-Газāлӣ

Настоящая статья посвящается детальному описанию одной рукописи, описанию, долженствующему лечь в основание характеристики личности автора сочинения.

Наш манускрипт находится в рукописном фонде книгохранилища Института востоковедения Академии Наук СССР под № В 108, содержит 96 лл., 20 × 13.5, по 24 строки в каждой странице — лл. 1—2 по 22 строки, написан курсивным почерком итало-испанского характера и датирован копистом Соломоном — שלאמון —, списавшем его, по его словам, для своего родственника, 5231 г. от сотворения мира = 1471 г. н. э.

Рукопись плохо сохранилась, начальные и последние ее листы отмокли и с большим трудом поддаются чтению.

Она представляет еврейский перевод арабского сочинения по этике, известного под заглавием Mīzān al-ʿamal — «Весы действия», автором которого является знаменитый в мусульманском мире и в арабской литературе Абӯ Хāмид б. Мухаммед аль-Газāлӣ (род. в 1058 г. и ум. в 1111 г.).[1]

Переводчик его — Авраам б. Самуил га-Леви Ибн-Хасдай жил в Барселоне в XIII в. В области переводной литературы он известен своими многочисленными переводными сочинениями и как пионер в смысле популяризации путем переводов на еврейский язык арабских сочинений нееврейских авторов. Особенно он прославился своим переводом на еврейский язык арабского сочинения, переводом, известным под заглавием Ben ha-Melech we-ha-Nazir — «Принц и Дервиш».[2]

[1] См. Steinschneider, Hebr. Übers., § 163, S. 296 sq.; Brockelmann, Gesch. der Arab. Liter., I, S. 419 sq.; Enz. des Islam, II. S. 154 sq..

[2] Это — еврейская версия популярного в средние века дидактического романа индийского происхождения, который в первоначальном виде, как и в позднейшей переработке на греческий язык, носил название «Варлаам и Иоасаф». См. Евр. Энц., VII, столб. 934 сл.; ср. Surton, II, 563—4; Chauvin, Bibliogr. des ouvrages Arabes. Liege, 1802, III, pp. 88—93; Steinschn. Hebr. Übers. § 532, Ss. 863—867. Имеет много изданий.

Наша рукопись — без всякого заглавия — начинается с предисловия Ибн-Хасдая, в котором он говорит, что это сочинение названо им Mōznē Ṣedeq, поясняя при этом мотив этого названия.[1] Оригинал арабской рукописи под вышеуказанным заглавием находится в Королевском книгохранилище в Каире, т. VII, р. 376,[2] и издан там же в 1910 г.[3] Еврейский перевод был издан Гольденталем[4] из трех фрагментов, находящихся в Лейпцигской библиотеке, друг друга дополняющих и в совокупности представляющих одно целое.[5]

Наша рукопись представляет большой интерес, прежде всего, потому что она целиком сохранилась, несмотря на сравнительную ее древность.[6] Кроме того, поверхностное сличение ее с печатным текстом свидетельствует о том, что мы имеем дело с двумя вариантами, представляющими две редакции. Именно: на л. 2r в предисловии переводчика приводится цитата с краткими биографическими сведениями об Аристотеле от имени Ṣā'ида б. Ṣā'ида,[7] опущенного в печатном тексте. Лакуна эта в лейпцигских фрагментах дала повод Гольденталю ошибочно интерполировать слово «переводчик» — המעתיק — или имя последнего «Авраам».[8] При сравнении же обоих текстов бросается в глаза обилие в них различий стилистических, орфографических, лексических и грамматических, дающих в некоторых случаях основание разно понимать мысль автора. Условия места вынуждают нас ограничиваться немногими примерами, но они достаточны для подтверждения сказанного (Примеры см. стр. 143).

Прослеживаются также большие различия в приведенных в обоих вариантах цитатах. Напр.: л. 8r, 5—8 приводится сентенция из трактата «Абот» целиком, в печатном же тексте (стр. 14) лишь часть. То же явление на л. 62v, 7 и стр. 150. Любопытно, что для подтверждения одного и

1 Термин этот подобран им из Библии, см. Levit. 19,36, Hi. 31,6.

2 См. Brockelmann, о. с., S. 422, № 27.

3 См. Enzykl. des Islam, II, S. 156; Sarkis, 1415, № 47; Encycl. Judaica, II, S. 291. У нас нет ни арабск. рукописи, ни ее издания.

4 Издано в Лейпциге в 1839 г.

5 См. предисловие его к изданному тексту. стр. XXX.

6 См. Steinschneider, Cat. Lugd.-Batav., W. 56, 8, р. 260. По скудным сведениям о рукописях, находящихся в Парижск. Нац. библиотеке, под №№ 911, 912 — см. Cat. des manuscrites hébreux et samaritains, — и в Бодлеяне под №№ 1337, 4, 1350, 1, 1351,1 см. Cat. of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library, Neubauer, — можно предполагать, что они не отличаются от лейпцигских, по которым данное сочинение издано.

7 Автор библиографического произведения XI в., живший в Толедо. — См. Brockelmann, о. с., S. 343, № 4, издано Cheikho, 1912; ср. Steinschneider, Hebr. Übers. S. 342 Anm. 592.

8 См. печатное изд., стр. 2, Anm.; ср. Steinschneider, Cat. Lugd.-Bat., loc. cit.

Печатный текст	Стран	Рукописный текст	Лист и строка
ערונות	1	לרעות בין ערונת	1v 2
עמם	»	כמוס עמהם	» 4
מיוחד	»	בחבור אחד	» 13
כל שכל	1—2	לא יכילם ספר	» 17
דעותם	2	ברוב דעותיו	2r 10
את דרך	3	ולשמור דרך	» 17
שישפיע	»	מי שיושפע	2v 5
המעשים [1]	»	וקראו מאזני המעשה	» 14
ונפת	4	ונופת צופים	2v—3r
ממעגליו	»	ולא אסור ממעלליו	3r 5
קורא	»	ולמען ירוץ ה	» 8
לנלות	»	ולדקדק... ולגלות	» 18
קופץ	»	כופר	» 21
נחקרה... והארכנו	6—7	אלו נחקור... ואלו הארכנו	3v 16
מאזנים וישינהו אל שרשיו	7	ואע"פ שלא נאריך... בספרנו... מאזנים כאשר יתבאר בו נגיע אל שרשיו...	3v 19—21
הבאור... האמונה בה(?) היא שנעון	»	הביאור השני... שחולשות האמונה בעולם הבא הוא שנעון	3v 24
הפחותות שבה	8	ומדות הפחותות מיתרון החדוד והאטומות	4r 23—24
...דחן...היה הרחן כלה(?)	9	... העולם... מלא דוחן... צפור תלקט... זרע אחד ממנו לא יהיה הדוחן כלה...	5r 4—6
ורבם... מאה... (?)	10	ורובם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה	5v 9—10
... יאמינו	11	כת אחת מהם תאמין	5r 22
... הדתות	»	בעלי הדעות	6r 5
... המקצת האלהיים מהפילוסופים	»	והכת השנית היא כת מה מהפילוסופים האלהיים	» 6—7
...הנבוכה מהיותו אחד מארבעה חלקים	16	לא ינצל עינך באמונת הכת הנבוכה והיא הכת הרביעית מהיותה מארבעה חלקים	8r 13—14
... מבוקש או ראוי לברוח...	29	כשיגיע בדמיון צורת דבר מבוקש ראוי לברות ממנו (?)	14r 8 сн.
או משלימות לכל אחת מהם ומזינות אותם כגון המחינה והלישה לזריעה ילבון הבגדים והתפירה לארינה וזה בהקש לתקון עולם השפל כדמות חלקי האיש בהקש אליו שהם שלשה חלקים כגון הלב והכבד והמוח	148	או על דרך השלמות והיפוי כמו לבון הבגדים לארינה וזה הענין הוא בדמיון חלקי אברי האדם שיש בהם אברים עקריים וראשיים כמו הלב והכבד והמוח	61v 12—15

[1] Это слово дало повод Штейншнейдеру, видавшему лишь изданный текст, полагать, что оригинал озаглавлен: מיזאן אלאעמאל вм. אלעמל. См. его Hebr. Übers., S. 342.

того же тезиса в одном варианте цитируется 1-я часть стиха, в другом — 2-я. Так: л. в 62v 4—6: קודם שנברא העולם ברא הק"בה את התורה שנ[אמר] ואהיה שעשועים יום יום[1], в печатном стр. 150: משחקת לפניו בכל עת Местами не находим целой фразы в одном из обоих текстов, имеющейся в другом.[2]

Следует особо отметить, что целый пассус, имеющийся в печатном тексте (стр. 13), начинающийся словами גם פעמים רבות и продолжающийся (на стр. 14) до слов עניניהם, מהרגל, в рукописи неправильно перемещен дальше (лл. 7v, 1—8r, 11), где он совершенно не на месте и не соответствует контексту, в чем легко убедиться при внимательном чтении. Приведенные примеры попутно показывают, что, при сравнении стилей обеих редакций, перевес оказывается преимущественно на стороне варианта нашей рукописи, хотя в известных случаях понимание данной фразы в рукописи обусловлено параллельным чтением соответствующего места в изданном тексте. Колофон нашей рукописи также отличается от печатного текста. Она заканчивается: נשלם ספר מאזני צדק: ת"ל מחזיק כלי צדק: ברוך נותן ליעף כח: ולאין אונים עצמה ירבה. Конец изданнного текста: נשלם ספר מאזני צדק ובערבי מזאן (!) אלעמל, ר"ל מאזני המעשה, תהלה לאומר ועושה

Переводчик предпосылает тексту предисловие, изложенное в рифмованной прозе мозаичного стиля и начинающееся словами: בעלותי ההרה הר המור נבעת הלבונה לרעות בין ערונת ספרי בעלי מזמה ותבונה... Дав восторженный отзыв о содержании этого сочинения, именуя автора разными хвалебными поэтическими эпитетами, Ибн-Хасдай, однако, подчеркивает, что центральные мысли этого произведения не новы, авторами их являются древние ученые, в произведениях которых они тут и там рассеяны.[3] Аль-Газāлӣ, по его мнению, не является также основоположником в смысле создания развернутой системы этой научной дисциплины. Переводчик констатирует, что первым пионером в этой научной области еще в античном мире был Аристотель, и он является основоположником этой отрасли науки. Но знаменитое его сочинение по этике, подобно его сочинениям по другим научным дисциплинам, отличается тонкостью, глубиной мыслей и сжатостью их оформления. И благодаря этому оно, за исключением особо одаренных мыслителей, не доступно заурядным людям. Тут же имя Аристотеля сопровождается краткими биографическими сведениями из сочинения вышеназванного Ҫā'ида

[1] См. Притч. 8,31.

[2] Ср. л. 64r., 12 и стр. 154, 11—12.

[3] Ср. Steinschneider, Hebr. Übers., SS. 344/5 и Anm.

б. Ṣāʻида[1] и цитируется также географ и историк X в. аль-Масʻӯдӣ.[2] Последний критикует поздних философов — הפילוסופים האחרונים — за их отрицательное отношение к Аристотелю вследствие его отклонений от учения своего учителя Платона, так как этим он, Аристотель, по их мнению, причинил якобы большой вред философии и ее основам. Аль-Мас'ӯдӣ выставляет Аристотеля в лучшем свете, с присвоением ему эпитетов «командующего армией отличных мудрецов и собирателя всех лагерей благочестивцев» — שר צבא החכמים היחידים ומאסף לכל מחנות החסידים.[3]

Для поддержки, повидимому, авторитета Аристотеля среди еврейского ученого мира, Ибн-Хасдай приводит похвальный о нем отзыв Маймонида.[4] Ибн-Хасдай упоминает еще другое сочинение по этике, озаглавленное «Усовершенствование духовных качеств» — תקון מדות הנפש —,[5] принадлежащее перу испанско-еврейского философа XI в., Соломона ибн-Гебироля. Сочинение это, говорит он, по мнению многих ученых, представляет лишь краткий и незаконченный компендиум этой научной теории.

По мнению Ибн-Хасдая, историческая заслуга по систематизированию учения об этике в одно архитектонически стройное и всем доступное сочинение выпала на долю великого восточного мудреца, известного во всех научных областях — איש נבון וחכם גדול ונודע ובכל חכמה גלוי ומפורסם —, именуемого Абӯ Хāмид аль-Газāлӣ. Это сочинение, подчеркивает он, являющееся одним из лучших его произведений по совершенству и ясности изложения, озаглавлено «Весы действия и качества их» מאזני המעשה ומדותיהם. Несмотря на то, продолжает он, что аль-Газāлӣ был большой ученый с философскими тенденциями — ונוטה לדרך הפילוסופיה, — он тем не менее аргументирует свои положения цитатами из их (мусульманских) религиозных книг и сунны מספרי דתיהם ואגדותיהם.[6] Последние Ибн Хасдай считает слиш-

[1] См. Kitāb Tabaqāt al-Umam ou les Catégories de Nation, Cheikho, Beyrouth, 1912, p. 64. وامّا ارسطاطاليس ... وتفسير ارسطاطاليس تامّ الفضيلة .حكى ذلك ابو الحسن... لمسعودى [اطلب كتابه الاشراف والتنبيه (طبعة ليدن ص ١١٦)]... وكان... ارسطا طاليس تلميذ افلاطون ويقال انه لازمه عشرين سنة. وكان افلاطون يؤثره على سائر تلاميذه ويسمّيه العاقل (حك: العقل) والى ارسطاطاليس انتهت فلسفة اليونانيين وهو خاتمت (خاتم) حكمائهم و سيّد علمائهم الخ.

[2] О его научной деятельности см. Brockelmann, o. cit., S. 144—145.

[3] См. л. 2r.

[4] См. л. 2v.

[5] Loc. cit.

[6] См. л. 2v.

ком слабыми для аргументации. Однако, не желая уклоняться от метода автора, он заменяет указанные цитаты аналогичными цитатами из своих, более, по его мнению, основательных и достоверных религиозных книг.[1] Тут же он еще отмечает одно дополнение, им сделанное в переводе, именно, для лучшей ориентировки, им предпосылается индекс содержания каждой главы. Он также заявляет, что заглавие перевода Mōznē Ṣedeq — «Весы правды» этимологически не адекватно арабскому Mīzān al ʿamal, но оно соответствует приводимым в сочинении правдивым идеям: ומאזני צדק קראתיו כי בצדק כל אמרי פי.[2]

Заканчивается предисловие извинением переводчика перед читателем, если он, читатель, встретит в этом переводе неудобопонятные выражения. Возможность этого он предвосхищает по следующему мотиву. Переводчик, говорит он, легко разбираясь в конструкциях и сюжете переводимого им сочинения, может зачастую, вследствие этого, недостаточно уточнить язык, на который сочинение переводится, предполагая, что читатель так же легко будет ориентироваться в переводе, как он в оригинале. Поэтому он просит читателя быть снисходительным в подобных случаях и не торопиться с критикой, а спокойно обдумывать и стараться понимать.

Ибн-Хасдай имел полное основание сделать такое предупреждение будущим читателям. Действительно, тяжелый строй речи, усугубляемый зачастую арабизмами в синтаксической структуре и в лексике, часто ставит читателя втупик.

Мы не будем останавливаться на иллюстрации примерами, ибо это выведет нас из границ, нами намеченных, тем более, что подтверждение сказанного легко найти в каждой главе. Часто легче догадываться о смысле фразы по контексту, чем понимать его из дословного ее перевода, в чем читатель убедится при чтении хотя бы первой краткой главы. Кстати отметим, что в изданном тексте больше арабизмов в строе речи, чем в рукописном. Например: в рукописном (л. 46г 12—13) фраза — ואין מדה מהמדות האלה שלא באו עליה הגדות вполне понятна, в печатном же соответственно сказано: אלא ובאו עליה, что равняется арабской конструкции إلّا وجاء عليها, которая в еврейском буквальном переводе затемняет смысл. То же

[1] Обычно Ибн-Хасдай заменяет цитаты автора библейскими стихами, талмудическими сентенциями и стихами некоторых еврейских поэтических произведений. В известных случаях, за ненахождением в еврейской литературе соответствующего эквивалента, он приводит цитату автора под псевдонимом «мудреца», «одного из мудрецов» и т. п. См. л. 28г, 29г; 40v и много других. Ср. Steinschn. Hebr. Übers., SS. 343—344.

[2] См. л. 3v.

явление на л. 68v 1—3: שלא יניח פנים מאופני החכמה... אלא יסתכל בם,
в печатном же тексте אלא ויסתכל בם ... = الّا وينظرهم[1]

Сказанное склоняет нас к тому, чтобы согласиться с Штейншнейдером, по мнению которого перевод этот представляет одну из первых попыток Ибн-Хасдая на поприще переводной литературной деятельности, и как таковая страдает стилистически.[2]

Сочинение делится на 32 главы — ביאורים — Šurūḥ — буквально: 'комментарии, — и они изложены в таком порядке, что каждая глава является логической предпосылкой следующей за ней, которая с необходимостью из нее вытекает, так что никакая перестановка их немыслима. Предшествует сочинению краткое введение, в котором автор разъясняет движущий мотив настоящего труда. Блаженство, говорит он, представляющееся желанным объектом для всех и осуществляемое лишь в будущем (загробном) мире, постигается теоретическим знанием и практикой לא תושג אלא בחכמה ובמעשה. Так как, продолжает он, не всякая теория и практика полезны, то цель этого сочинения указать, какие из них ведут к искомой цели, к вечному блаженству. Тут же он прибавляет, что его сюжеты будут трактоваться им на базисе традиции וכל זה בדרך נעלה בו מגבול הקבלה אל גבול הביאור. Уточнение высказываний путем исследования потребовало бы обращения к помощи аргументаций, но это, говорит автор, не входит в план настоящего его задания.

Ниже следует краткое содержание каждой главы в отдельности, с цитатой начала каждой из них.

I. Лл. 4v—5v. הביאור הראשון נבאר בו שהתרשלות מבקשת ההצלחה הנצחית היא שגעון. «В первой главе мы разъясняем, что небрежность в отношении стремления к вечному блаженству есть безумие». Определяя внутреннюю его, блаженства, ценность, которое, по его мнению, включает в себе все, мыслимое как всеобщий желанный объект, аль-Газали не допускает существования человека, который не стремился бы всегда к его достижению. Заканчивает он эту главу заявлением, что лишь неверующий в существование будущего (загробного) мира может проявлять небрежное отношение к пути, ведущему к блаженству.

II. Лл. 5v,—11r. הביאור השני נבאר בו שחולשות האמונה בעולם הבא הוא שגעון. «В 2-й главе разъясняется (догматико-теологический принцип),

[1] Ср. St. Hebr. Übers., S. 344.
[2] См. St. loc. cit., против мнения Гольденталя, см. его предисловие к изд. тексту, S. XXX. Об арабизмах в лексике перевода см. Steinschn., loc. cit.

что неверующий в потусторонний мир проявляет заблуждение, граничащее с безумием». Для подтверждения этого тезиса автор показывает, что люди по своим эсхатологическим взглядам разделяются на четыре категории, из коих лишь одна, четвертая, отрицает существование реального будущего мира. Под последней он, повидимому, подразумевает материалистов, так как сущность их доктрины характеризуется им тем, что они считают смерть переходом из бытия в абсолютное небытие и, следовательно, никакой речи о вознаграждении и наказании после смерти не может быть. По его мнению, остальные три доктрины, признающие в их разновидности реальное существование будущего мира, вера в который ведет свое начало от пророков и мудрецов, заслуживают больше доверия, чем ученье материалистов.[1]

Чувствуя, однако, голословность своей аргументации, аль-Газāлӣ старается убедить материалистов следующими соображениями, чтобы они следовали по вышеуказанному пути. Предпосылками блаженства, говорит он, являются приобретение научных знаний и согласованная с ними практическая деятельность. Последние же сами по себе, в процессе их активизации, доставляют их факторам духовное и материальное удовольствия в этом мире, удовольствия, стоящие выше всяких мирских физических наслаждений.

III. Лл. 11—13. הביאור השלישי נבאר בו שדרך ההצלחה האמתית היא החכמה והמעשה. «В третьей главе разъясняем, что путь к истинному блаженству есть теоретические знания и практическая деятельность». Аль-Газāлӣ демонстрирует здесь, что все секты, за исключением материалистов, независимо от разнообразных доктрин их по эсхатологии, солидарны в том, что путь к блаженству ведет через посредство теории и практики, причем высшая роль, по их мнению, принадлежит теории, а практике — субординативная, служебная. Этот факт их солидарности, говорит автор, заслуживает того, чтобы человек на первых порах следовал их авторитету слепо. В процессе же приобретения научных знаний, поднимаясь со ступени на ступень, человек доведет свой интеллект до кульминационной точки его потенциальной силы, а это и есть сущность блаженства.

IV. Лл. 13—17. הביאור הרביעי נבאר בו נקיון הנפש וכוחותיה ומדותיה על דרך המשל והכלל. «В четвертой главе даем путем сравнения общее понятие об очищении души, ее силах и качествах». Аль-Газāлӣ трактует здесь

[1] Как увидим в гл. XX и последней, это высказывание не представляет настоящего credo автора. Там он рекомендует не верить традициям, а признавать только видимое непосредственно глазами. Необходимо допустить, что автор часто скрывает свое подлинное мнение с нравственно-воспитательной, повидимому, целью, на что он намекает в гл. XXVII.

о том, какие именно из разнообразных теоретических дисциплин и различных практических действий следует активизировать, каким методом и в каком масштабе, со стремлением достижения искомой цели — блаженства. Два пути, говорит он, существует для этого: традиционный и научный. Последний обусловлен изучением психофизической проблемы, требующей для освоения ее много времени. Поэтому он советует придерживаться традиции, которая, по его мнению, даст тот же результат, что и научный метод.

Большой интерес, по нашему мнению, представляет попутно изложенный здесь нашим автором психофизический обзор, в котором проскальзывает его гносеологическая точка зрения.

V. Лл. 17 —20. הביאור החמישי נבאר בו קשר כחות הנפש קצתם עם קצתם. «В 5-й главе разъясняем взаимосвязь душевных сил». Аль-Газāлӣ дифференцирует духовные силы на самоцельные הכונה בהם לעצמם обслуживаемые другими, и на посредственные, служебные, т. е. созданные для обслуживания первых, считая последние главными. Под ними он подразумевает интеллектуальную силу, представляющую в различных своих градациях свойство пророков. Он также делит разум человека на ведущий и обслуживаемый המנהיג והנעבד, рефлекторный, обслуживающий, называемый им также активным השכל המפעלי אשר קראנוהו כח פועל. Активность последнего, разъясняет он, реализуется при помощи чувствительных материальных органов тела. Он выделяет еще разум рассудочный — רעיוני, содержания и функций которого он не указывает.

VI. Лл. 20—22. הביאור הששי נבאר בו ערך המעשה אל החכמה ותולדות ההצלחה מהם. «В 6-й главе разъясняем отношение практики к теории, через посредство которых получается блаженство». Аль-Газāлӣ говорит, что, по мнению суфиев, с которыми солидарны мыслители других школ, под практикой подразумевают преодоление негативных аффектов, обусловливающее возможность через посредство теоретических знаний проявлять положительную деятельность. Последнюю автор мыслит как приспособление души к восприятию эманирующих на нее божественных истин, с которыми она, душа, отождествляется. Это и есть, по его мнению, искомая цель человека, составляющая сущность блаженства, продолжающегося для души после смерти.

VII. Лл. 22—24. הביאור השביעי נבאר בו הפרש דרכי הצופים בצד החכמה מדרכי זולתם. «В 7-й главе мы разъясняем точки расхождения между суфиями и другими (мыслителями) в вопросе о теории». Первые считают теорию предпосылкой возможности преодоления отрицательных аффектов, после чего эманация божественных истин совершается без всяких опосредствований

теоретических знаний. По их учению, теория выполняет служебную роль в отношении практики, и, как таковая, занимает низкий ранг в иерархической лестнице, ведущей к блаженству. Спекулятивные же мыслители считают метод суфиев вредным, способным ввергнуть человека в психические и физические болезни. По их доктрине приобретение подлинных теоретических знаний после практической подготовки делает возможным возвышение человека в интеллектуальном отношении на пророческую ступень.

VIII. Лл. 24v—26v. הביאור השמיני נבאר בו איזה יכשר משני אלה הדרכים הזה או זה. «В 8-й главе разъясняем, который из двух указанных методов лучше». Аль-Газāлӣ считает применение каждого из обоих методов условным, индивидуальным, в зависимости от возраста данного индивидуума. Так, напр., человеку старшего возраста он советует применение метода суфиев, а молодому — метод, рекомендуемый философами. В случае же отсутствия учителя теоретических знаний, он и молодым рекомендует метод суфиев.

IX. Лл. 26v—28v. הביאור התשיעי נבאר בו סוג החכמה והמעשה המביאים אל הגן. «В 9-й главе мы разъясняем, какого рода теория и практика ведут в рай». Проклассифицировав науку на ее разнообразные дисциплины, с указанием значения каждой из них в отдельности, аль-Газāлӣ рекомендует заниматься изучением тех дисциплин, которые ведут к богопознанию, именно, метафизики и психологии. Что касается практических дисциплин, то он рекомендует этику и социологию, ставя во главу угла первую, так как она служит руководством во всей практической жизни.

X. Лл. 28v—30r. הביאור העשירי נבאר בו משלי הנפש עם אלה הכחות המתעוררים. «В 10-й главе разъясняем отношение души к возбуждающим силам» (в человеке). Аль-Газāлӣ дает здесь детальный психологический анализ всех аффектов человека в иллюстрациях, с предоставлением душе положения гегемона. Человека в этом отношении он называет макрокосмом, хотя по масштабу своему он микрокосм. עולם גדול בענין וקטן בשיעור. Автором, между прочим, высказывается мнение, что аффекты, как гнев, любовь следует не умерщвлять, а властвовать над ними и умерять их, ибо в известных случаях необходимо ими пользоваться.

XI. Лл. 30r—32r. הביאור האחד עשר נבאר בו מדרגות הנפש במלחמת התאוה וההפרש אשר בין עצת התאוה והשכל. «В 11-й главе разъясняем градации души в борьбе с аффектами страсти — תאוה — и разницу между побуждениями страсти и разума». По мнению аль-Газāлӣ, душа достигает высшей градации, когда она властвует над аффектами и регулирует их, пользуясь ими в необходимых пределах. Попутно он дает критерий для

различения между искренними и лицемерными деяниями человека, обусловив реализацию первых помощью свыше. Аффекты дифференцируются им на положительные и отрицательные — התאוה תחלק למגונה ומשובחת. Последние положительны, когда используются в видах необходимости — для поддержания тела и продолжения человеческого рода.

XII. Лл. 32v—37v. הביאור השנים עשר נבאר בו אפשרות שנוי המדות. «В 12-й главе разъясняем возможность изменения качеств» (духовных). Тезис этот он подтверждает примерами из животного мира, показывая, что некоторые их виды приручаются путем дрессировки. Отсюда он делает вывод, что духовные качества человека, приняв хорошее направление, могут усовершенствоваться.

XIII. Лл. 33v—35r. הביאור השלשה עשר נבאר בו הדרך הכללי בשנות המדות ורפואת התאוה. «В 13-й главе излагаем общий метод изменения качеств и лечения аффекта страсти». Показывая взаимовлияние друг на друга души и тела, аль-Газали советует путем противоположных аффектам реальных действий преодолевать и регулировать их. Таким методом, говорит он, можно постепенно изменить свои порочные наклонности.

XIV. Лл. 35r—36v. הביאור הארבעה עשר נבאר בו כללי המדות הטובות אשר בהגעתם תגיע ההצלחה. «В 14-й главе излагаем принципы хороших качеств, приобретением которых постигается блаженство». Аль-Газали считает, что два признака обобщают хорошие качества: 1) здоровый, познавательно-аналитический ум и 2) добрые качества. Первый различает между путем блаженства и противоположным ему путем, регулирует деятельность человека, ставшего способным принимать вещи по их подлинной сущности на основании ясных аргументов, а не по слабым традициям и пустым фантазиям. Добрые же качества — второй признак — состоят в устранении вредных нравов и в упражнении в благородных поступках, культивируемых перманентно, по доброй воле, а не спорадически и принужденно. Деятельность же часто упражняемая, становится природой ее фактора — conditium altera natura est. Аль-Газали делит дальше здоровый ум на природный и на приобретенный при помощи теоретических знаний, причем первый ставится им выше.

XV. Лл. 36v—39r. הביאור החמשה עשר נבאר בו פרטי הדרך הישרה להישיר המדות. «В 15-й главе даем детальные указания правильного пути, ведущего к усовершенствованию качеств». Аль-Газали говорит, что душа, подобно телу, нуждается в постоянном уходе, и советует применить медицинский метод в области этики. Между прочим, он рекомендует держаться в практической жизни золотой середины, во избежание крайностей.

XVI. Лл. 39r — 43r. הביאור הששה עשר נבאר בו אבות המדות הטובות. «В 16-й главе разъясняем, какие из хороших качеств считаются главными». Автор считает главными следующие: мудрость, храбрость, смиренность и справедливость. Под «мудростью» он подразумевает интеллектуальную силу, приспосабливающую человека к пониманию метафизических и этических дисциплин, подчеркивая, что вторые имеют служебный, по отношению к первым, характер. Любопытно отметить различное отношение автора к этим двум дисциплинам. Метафизическую науку он считает абсолютной истиной, этика же на основании mutatis mutandis, по его мнению, представляет условную истину, так как она модифицируется в зависимости от времени и индивидуума. Под термином «храбрость» автор мыслит сильную волю, руководимую разумом и вероучением. «Смиренность» он понимает как силу, склоняющую человека руководствоваться разумом в своих страстях. Что касается духовного качества «правдивости», то ее роль, по мнению аль-Газāлӣ, лишь функциональная, так как она обслуживает первые в качестве сопутствующего мерила.

XVII. Лл. 43r—44r. הביאור השבעה עשר נבאר בו מה שיכנס תחת טוב מדת החכמה. «В 17-й главе мы разъясняем, какие элементы составляют хорошее качество мудрости». Содержание этой главы, как и содержание следующих двух глав, представляет по трактуемым в них сюжетам детализацию предыдущей главы, а потому не будем останавливаться на них, отметив лишь их заглавия.

XVIII. Лл. 44r—44v. הביאור השמונה עשר נבאר בו מה שיכנס תחת טוב מדת הגבורה «В 18-й главе разъясняем элементы, входящие в хорошее качество «храбрости».

XIX. Лл. 44v—46v. הביאור התשעה עשר נבאר בו מה שיכנס תחת טוב מדת הענוה ופחיתותה «В 19-й главе разъясняем элементный состав качества «смиренности» и ее отрицательную сторону.»

XX. Лл. 46v—49v. הביאור העשרים נבאר בו הדברים העוזרים על מעשה הטוב והמונעים אותו «В 20 главе разъясняем, какие объекты помогают человеку совершать хорошие поступки и какие служат сдерживающим от них центром». Аль-Газāлӣ делит людей по внутренней ценности их мировоззрений на три градации, причем мировоззрение первой, имеющее своей базой религиозную традицию о вознаграждении и наказании в будущем мире за соответствующие моральные поступки в жизни, он считает **вульгарно-примитивным**. Мировоззрение второй градации, побуждающее также людей на моральные поступки положительного характера, имеет своим источником честолюбие. Моральные поступки, имеющие свою причину в самих

себе и вытекающие из мировоззрения мистического характера, автор считает высшей градацией, являющейся уделом немногих людей. Отметим, что из дальнейшей трактовки данного сюжета усматривается его симпатия к последней и презрительное отношеение к первым двум, особенно к первой. Что касается объектов, удерживающих от положительной моральной деятельности, то аль-Газāлӣ делит их также на два разряда. К первому он относит деяния человека принужденного характера, напр., занятие человека общежитейскими делами, необходимыми для поддержания себя и своей семьи. К объектам второго разряда он относит аффекты.

XXI. Лл. 49v—53r. הביאור העשרים ואחד נבאר בו מיני הטובות והתצלחות « В 21-й главе разъясняем разновидности благ и блаженства». Аль-Газāлӣ демонстрирует вторично (см. выше) разнообразность вечного блаженства и этических качеств, подчеркивая, что подлинные религиозные принципы — есть учение об этике.

XXII. Лл. 53r—55v. הביאור העשרים ושנים נבאר בו תכלית ההצלחה ומדרגותיה. «В 22-й главе разъясняем цель блаженства и его градации». Разбирая сущность блаженства. аль-Газāлӣ утверждает, что лишь вечное, самоцельное благо есть подлинное блаженство. К другим же благам, утверждает он, применяют этот термин либо метафорически, либо ошибочно.

XXIII. Лл. 55v—61r. הפרק (!) השלשה ועשרים נבאר בו מה שישובח ויגונה מפעולות תאות הבטן והמשגל והכעס. «В 23-й главе разъясняем, какие (физически естественные) аффекты желудка, полового органа и гнева одобряются и какие заслуживают порицания». В общем автор повторяет здесь неоднократно высказанную им в предыдущем мысль, что лишь активизация аффектов в масштабе, необходимом для поддержания и продолжения существования индивидуума и коллектива, подлежит аппробации. Что касается аффекта гнева, то его одобряет только в случае проявления его против человека, покушающегося на честь женщины или нарушающего религиозное предписанние.

XXIV. Лл. 61r—63r. הביאור הארבע (!) ועשרים נבאר בו מעלת השכל והחכמה והלמוד. «В 24-й главе разъясняем ценность интеллекта, мудрости и учения». Здесь аль-Газāлӣ дифференцирует науку на дисциплины теоретического характера, как метафизика, и дисциплины практические. Из разных отраслей практической деятельности он ставит выше всех умение управлять людьми, причем в последнем отношении он выдвигает на первое место пророков, регулирующих внутренний и внешний мир людей, а на второе ученых, влияющих на внутренний мир отдельных индивидуумов.

XXV. Лл. 63v—64r. הביאור החמשה ועשרים נבאר בו חיוב הלמוד להראות מעלת השכל. «В 25-й главе выясняем необходимость учения, в процессе которого выявляется ценность интеллекта». Достоинство интеллекта, по мнению аль-Газāлӣ, заключается в том, что он является местом и орудием приобретения мудрости. Источник последней — душа. Ей мудрость врождена потенциально — בכח — с момента рождения, а активизируется она, потенциальная мудрость, путем практической деятельности, при различной степени интенсивности в зависимости от данного индивидуума. Активность мудрости пророка, поясняет он, проявляется автоматически, без всякой научной подготовки с помощью учителя. Что касается обычных людей, то у одних активность ее, мудрости, обусловлена более энергичной интенсивностью, у других — незначительной затратой энергии. Отсюда автор дедуцирует врожденность человеку веры в бога, а заслуга пророков состоит, по его мнению, лишь в открытии ими людям идеи монотеизма.

XXVI. Лл. 64r—65v. הביאור הששה ועשרים נבאר בו מיני השכל. «В 26-й главе разъясняем виды интеллекта». Аль-Газāлӣ детализирует здесь сказанное им в предыдущей главе, именно, он дифференцирует интеллект на врожденный, — потенциальный, — и на приобретенный путем научных знаний. Последние, в свою очередь, постигаются человеком либо неведомым для него путем, либо при помощи изучения и освоения научных дисциплин.

XXVII. Лл. 65v—79v. הביאור השבעה ועשרים נבאר בו מדות התלמיד והמלמד בחכמת התוריות המצליחות. «В 27-й главе разъясняем, какими качествами должен обладать ученик и учитель при преподавании и изучении теологических наук, ведущих к блаженству». Аль-Газали устанавливает десять правил поведения для ученика, из которых заслуживают внимания следующие: принятие на первых порах теории учителя догматически, потом же последовательное размышление о возникших в ней сомнениях; одинаковое отношение ко всем научным дисциплинам в смысле стремления к освоению их, без проявления предпочтения одной перед другой, ибо все отрасли науки связаны между собой и взаимно полезны; систематическое и последовательное изучение научно-теоретических дисциплин, с переходом к более сложной по освоении более легкой. Не понимая философской сущности и значения практики, как критерия истины, аль-Газали категорически, ошибочно, утверждает, что «не люди служат критерием истины, а, напротив, истина (абстрактная) служит критерием людей». — При отсутствии времени для изучения всех наук подавляющее количество времени

должно быть посвящено метафизике, остальное же время — поверхностному ознакомлению со всеми остальными научными отраслями. Автор пользуется тут случаем, чтобы бросить упрек тем, которые отрицательно относятся к суфизму, называя их умственно-ограниченными людьми. Отметим здесь, что суфизм в его аспекте требует изучения теоретических наук. — Умение дифференцировать научные дисциплины по внутренней ценности получаемых от них результатов. Напр., метафизика, теология дают изучающему их блаженство; медицина — необходимая наука в жизни, но польза от нее ограничена временем; математика же ценней последней силой своей аргументации, но менее нужна в жизни. — Необходимо иметь общее понятие о следующих трех дисциплинах: а) о языковедении в широком смысле этого слова; б) о законах диалектики, дискуссии, аргументации и риторики и в) о дисциплинах чисто теоретического и практического характера. Отметим, что диалектический метод аль-Газāлӣ ценит невысоко, подчеркивая при этом, что этим методом пользуются мутекаллимы в большинстве своих доктрин. Далее, автор относит к теоретическим дисциплинам эсхатологию и изучение народных верований — фольклора — с целью исследования, поскольку они представляют адэкватную истину или аллегорию. Он здесь также заявляет, что сочинение это, написанное им в качестве инструкции для поведения, построено им на основе суфизма и имеет декларативный характер. Вопрос же о подлинной истине учения суфизма не входит в круг задач данного произведения, а предоставляется читателю заниматься научным исследованием его. В дальнейшем он, однако, подчеркивает положительные стороны и преимущества суфизма перед другими доктринами. — Последняя инструкция рекомендует ученику при изучении им любой дисциплины иметь в перспективе исключительно нравственную чистоту, в качестве целеустремления. Указав в предыдущем, что основные принципы данного учения есть суфизм, аль-Газāлӣ считает необходимым подчеркнуть, что между базисом этого произведения и надстройкой его инструкциями о необходимости изучения всех наук — нет противоречия, ибо и суфии высоко ценят последние, и лишь в сравнении с пророчеством они ставят их ниже по своей ценности.

Прежде чем перейти к инструктированию учителя, аль-Газāлӣ демонстрирует все фазисы научного пути, подготовляющего человека к педагогической деятельности.

Они сводятся им к трем: а) школьное образование, б) автодидактическое занятие наукой, в) анализирование и синтезирование приобретенных в указанных стадиях знаний. Снабженному этим путем знаниями

и желающему посвятить себя преподавательской деятельности аль-Газāлӣ рекомендует целый ряд правил, из которых для иллюстрации приведем следующие: преподавание всех предметов должно вестись под углом зрения морали, с учетом степени интеллектуальных способностей учеников и с заострением внимания последних на научных дисциплинах; учитель не должен проявлять небрежного отношения к дисциплинам, не изучаемым в данное время учениками. Так, напр., иллюстрирует автор, поступают законоведы по отношению к языкознанию и т. п. Необходимо обращать внимание ученика на дисциплины, стоящие по своей значимости выше преподаваемой, с целью изучения их по освоении последней; — преподавание должно вести с учетом интеллектуальных способностей учеников, с постепенным переходом от объяснения буквального смысла текста к скрытому. Способному ученику учитель обязан открыть подлинный смысл данного текста; — при объяснении религиозного текста учитель должен держаться так, как будто оно есть подлинная истина (!), и лишь постепенно вести ученика к интерпретациям более субтильного характера. Сомнения ученика в вопросах религии надлежит устранить при помощи ссылок на народные верования, хотя они не представляют истины (!). Устранение же подобных сомнений научно-исследовательским методом требует продолжительного времени, и есть опасение, что дело не будет доведено до желанной цели. К ученику с высоким интеллектом может быть применен и исследовательский метод; — преподавателю религиозного учения надлежит конкретизировать свою теорию на практике, для внушения доверия к себе (!).

XXVIII. Лл. 79v—85v. הביאור השמונה ועשרים נבאר בו הנהגת הממון ומה שיש בקנינו. «В 28-й главе разъясняем, каково должно быть отношение к добыванию денег и обращение с ними по приобретении их». Аль-Газāлӣ рекомендует ограничение забот о приобретении денег пределами необходимости их для поддержания тела пищей и проч.; целесообразность же тела обусловлена тем, что оно является обиталищем души. Показывая дальше существование двух методов приобретения денег, пассивный и активный, он говорит, что последний, состоящий в прибылях от деловых предприятий, надо ограничить рамками, предуказанными в вероучении. Такое же отношение должно быть, по мнению его, к расходованию денег, т. е. не быть ни расточительным ни жадным. Между прочим, аль-Газāлӣ высказывается здесь против небрежного отношения суфиев к мирским делам, рекомендуя лучше всего отдавать дань обоим мирам: актуально-конкретному и мыслимо-будущему: ...ומין שלישי הם אמצעיים פרעו לשני עולמות חקם והם הנכבדים שבכלם אצל המאמתים...

XXIX. Лл. 85v—87r. הביאור התשעה ועשרים נבאר בו הדרך להסיר האנחה בעולם הזה. «В 29-й главе показываем путь к устранению скорби по мирским делам». Разбирая все виды скорби, аль-Газāлӣ показывает, что при наличии физического здоровья, благополучного состояния на своей родине и обеспечения дневным материальным пропитанием, скорбь свидетельствует о слабоумии и глупости носителя ее. При указанных условиях, разъясняет он, скорбь о прошлом нецелесообразна, — о настоящем имеет своим источником зависть и честолюбие; скорбь же по поводу неприятных явлений, ожидаемых в будущем, тоже не должна иметь место, ибо долженствующему не миновать, а против возможного надо вместо скорби принимать профилактические меры для его отвращения.

XXX. Лл. 87r — 90r. הביאור השלשים נבאר בו להסיר אימת המות. «В 30-й главе разъясняем, что не должно бояться смерти». Memento mori, говорит аль-Газāлӣ, приносит его носителю благие результаты этического характера. Утрата мирских удовольствий, связанная со смертью, не должна, по мнению автора, возбуждать чувство боязни, ибо они — мирские удовольствия — ничто в сравнении с ожидаемым блаженством после смерти в загробном мире. Понимание сущности этого блаженства обусловлено предварительной научной подготовкой по теории познания души и ее взаимосвязи с телом. Боязнь же по поводу прошлых грехов должна быть заменена покаянием. По концепции нашего мыслителя, надо смотреть на смерть, как на освобождение от уз рабства жизни.

XXXI. Лл. 90r—93v. הביאור השלשים ואחד נבאר בו אות המדרגה הראשונה ממדרגות ההולכים לאל יתברך. «В 31-й главе разъясняем критерий первой из градаций тех, которые стремятся к богу благословенному». Все волевые акты последней категории людей, говорит аль-Газāлӣ, даже такие, которые конкретизируются на аффектах, должны иметь своим отправным пунктом религиозные предписания.

В дальнейшей трактовке этого тезиса, как и при обсуждении других проблем, обнаруживаются сильные суфийские тенденции нашего автора, ограниченные материальными рамками.

Любопытно отметить, что в этом сочинении аль-Газāлӣ не трактует проблемы «бог»; однако, он резко высказывается против антропоморфических представлений, которыми проникнуты народные верования, считая носителей их ослами, а авторов подобных сочинений — лжецами.

Рядом с таким резким высказыванием замечается, однако, толерантное отношение со стороны аль-Газāлӣ к тем авторам, в произведениях которых антропоморфизм фигурирует как аллегория. Под последними

он подразумевает Коран и другие религиозные книги, хотя он не протестует против отрицательного отношения к антропоморфизму вообще: ואולם הותרו אלו המלות בדת על צד הסוד... יבינם מי שיבינם ויכחישם מי שיכחישם.

XXXII. Лл. 93v — 96. הביאור השנים ושלשים נבאר בו ענין דרכי בני אדם באמונה וחלופיהם בה «В 32-й главе объясняем сущность различных взглядов людей на вероучение».

Высказывание автора в этой главе может служит ключем для расшифровки личного взгляда его на религиозное учение, поэтому мы передадим ее подробнее.

В виду того, что это сочинение представляет некоторую смесь доктрин суфиев, захиритов, ашаритов и мутакаллимов, аль-Газāлӣ старается предвосхитить вопрос, который может возникнуть у его читателя. Именно, какая из этих доктрин представляет подлинную истину в целом или в части ее, и в какой части?

В своем высказывании, как мы увидим, он отрицает объективную истину у всех вероучений. Люди, говорит он, по своим взглядам на «учение» (религиозное) — דרך, maḏhab — разделяются на две категории. Одни считают, что это слово является синонимом трех разных учений: 1) учение, унаследованное от родителей; 2) учение теологов той или другой школы; 3) учение, выработанное человеком своим собственным умом.

Под первым подразумевают учение, принятое от родителей, либо от вероучителя, либо от сограждан родины. Разумеется, разъясняет он, что в разных странах и районах существуют разные доктрины и разные учителя. В одной, напр., доминирует доктрина мутазилитов, в другой — шафиитов, в третьей ашаритов, в четвертой — ханифитов. И в каждой стране родившийся следует господствующему на его родине учению, присвоив себе эпитет, соответствующий назваиию принятого им учения. Эпитет этот символизирует отношение носителя его к религиозной секте, членом которой он состоит.

Особенно любопытен взгляд аль-Газāлӣ на генезис этих сект. Известный коллектив, говорит он, пожелавший захватить власть при помощи толпы, волеизъявление которой находит свое выражение лишь в лице героя, окруженного ореолом известного личного качества, вырабатывает себе учение с соответствующим ритуалом и культивирует его в местах собрания. Таким путем, по мнению аль-Газāлӣ, рождаются секты со своими вероучениями, враждующие между собой, но единые внутри. Каждая секта имеет свою внешнюю эмблему в качестве символа истины, посредством которой

вожди их вербуют себе последователей, ими одураченных, принимающих ее, эмблему, за подлинную действительность, ибо скрытый ее смысл известен лишь ее авторам.

Что касается учения теологов, то наш автор высказывает следующие соображения. У теолога-педагога должен быть индивидуальный подход к каждому своему ученику в отдельности. Он не должен подходить ко всем слушателям своей аудитории одним и тем же методом и масштабом, а дифференцированным, с учетом степени интеллектуальных способностей каждого слушателя.

Для иллюстрации он приводит следующий конкретный пример. Если, говорит он, турок, индиец, или «неспособный» вообще — עבה הטבע, услышит, что бог обитает не внутри мира и не вне его, что он, бог, не соединен с миром и не отделен от него, то он не замедлит отрицать само существование бога. Исходя из таких соображений, педагог обязан говорить с подобными учениками на их языке, именно, что бог сидит на высоком троне в ожидании слушания молитв, доставляющих ему удовольствие, в компенсацию за которые молящиеся вознаграждаются в будущем, в раю. Но если аудитория по своей интеллектуальной квалификации способна воспринимать подлинные знания, то педагог может им передать их, варьируя, однако, свое учение с каждым слушателем сообразно степени его развития.

Далее, аль-Газāлӣ говорит относительно религиозных концепций, к которым человек доходит путем личного размышления. Последние, по его мнению, человек — их носитель — должен держать в секрете, высказывая их лишь людям, ему подобным в интеллектуальном отношении. С мракобесами автор считает бесполезным философствовать, предпочитая предоставлять им верить по-своему.

Есть еще другая категория, — говорит аль Газāлӣ, — которая, напротив, считает, что есть лишь одно вероучение, именно, трактуемое в школах той или другой секты. Потом же, по его словам, единое вероучение, было присвоено учению, унаследованному от рождения: от родителей, вероучителей или от сограждан города, в котором данный индивидуум проживает.

Из сказанного аль-Газāлӣ делает непосредственный вывод, что ни одна из религиозных доктрин не может претендовать на то, что она представляет собою подлинную истину. Вследствие сего, — продолжает он, — нецелесообразно стараться узнать религиозную концепцию другого. Здесь автор дал понять, что настоящее свое мировоззрение он скрывает созна-

тельно, а по тому не стоит тратить время на искание его в данном сочинении. Он советует оставить все традиционные религиозные доктрины и следовать своему собственному разуму, ибо не приличествует подобно слепому следовать за путеводителем в то время, когда другие предостерегают об угрожающей опасности. Научные знания, — говорит он, — служат единственным якорем спасения от лжи этих путеводителей. Пассус этот заканчивается четверостишием, смысл которого заключается в том, что надлежит верить лишь своим глазам, а не разным сказкам о том, что было и что будет, ибо видеть и понимать лучше, чем слышать и верить.

Аль-Газāлӣ в заключение своего сочинения высказывается следующим образом: если, — говорит он, — последние слова внушат читателю скептицизм к своему вероучению, и послужат ему движущей силой к приобретению научных знаний, служащих оружием для дифференцирования «святого» от «простого», то тем лучше. Целесообразность скептицизма заключается именно в том, что он ведет носителя своего к истине. Кто не сомневается, говорит он, тот не мыслит, кто не мыслит, тот не видит, а кто не видит, тот остается в слепоте и заблуждении, глаза-то у него есть, но они не видят.

Изложенное нами краткое содержание рассматриваемого сочинения дает возможность попытаться характеризовать мировоззрение нашего религиозного мыслителя и философа. При этом учитываем предпосылку переводчика в своем предисловии, что, кроме указанных им изменений цитат и прибавления индекса, смысл оригинала будет им точно передан: ולא אסור ממעלליו ולא אטה ימין ושמאל מעליו (л. 3v, стр. 4—5). Мы также подчеркиваем, что будем оперировать исключительно с его высказываниями в этом сочинении.

Синтезировать его концепцию по различным проблемам, с учетом всего его богатого наследия, объемлющего все научные дисциплины его времени, не входит в наше задание ни по месту, ни по замыслу. Да едва ли это возможно. Установлено, что мировоззрение аль-Газāлӣ периодически менялось: то, что на данном отрезке времени им признавалось, он отрицал в другое время.[1] Но в нашем сочинении, в котором автор трак-

[1] См. Ibn Ṭufail, Hajj b. Jakẓān (ed. Pococke), S.001; I: واماّ كتب الشيخ ابى حامد الغزالى فهو بحسب مخاطبته الجمهور يربط فى موضع و يحل فى آخر و يكفر باشياء ثم ينتحلها الخ. Имеется более позднее издание: Léon Gauthier, Alger, 1900; см. Enzykl. d. Islam, II, S. 452. Ср. Obermann, Der philosoph. und religiöse Subjektivismus Ghazālīs, S. 2. Anm. 1; Гольденталь, предисловие к изд. тексту, стр. XX; Enzyklop. des Islam, II. SS. 154—157.

тует, главным образом, проблему этики, затрагиваются попутно и другие проблемы: теология в ее различных доктринах, суфизм, законоведение и, наконец, философские учения в их разновидных оттенках. Трудно поэтому определить его миропонимание по одной трактовке им проблемы этики, без учета его высказываний в этом же сочинении по другим соприкасающимся с ней вопросам.

Аль-Газāлӣ редкий феномен своего века, хотя оригинальных, делающих эпоху, новых идей у него не было. Как выше было сказано, он не является основоположником новой развернутой философской системы.[1] Но по одному перечню его сочинений,[2] число которых доходит до ста, можно констатировать, что он был живой энциклопедией своей эпохи, редким эрудитом, всеобъемлющим умом. Его сочинение «Maķāṣid al Falāsifa», представляющее энциклопедию гуманитарных и естественных наук перипатетиков, и его же произведение «Tahāfut al Falāsifa», в котором автор демонстрирует взаимно опровергающиеся учения перипатетиков, свидетельствуют о следующем: с одной стороны, автор преодолел все научные дисциплины, трактовавшиеся в ученом мусульманском мире на Востоке; с другой стороны, они показывают его недюжинный талант выявлять путем тонкого анализа их ошибки и недостатки.[3] Многие из других его многочисленных сочинений подтверждают, что он не менее был силен в теологических и других дисциплинах.[4] Неудивительно, что наш автор пользовался такой популярностью и таким общепризнанным религиозным и научным авторитетом, как никто из его предшественников и современников в мире ислама. Хаджи Хальфа, напр., отзывается о его сочинении «Iḥjā ʿulūm ad-dīn», что «если бы утрачены были книги Ислама и осталось «al-Iḥjā», то не нуждались бы в утраченных».[5] Как религиозного мыслителя, Суюти характеризует его следующими словами: «если после Мухаммеда был еще пророк, то это был наверно аль-Газāлӣ».[6]

Уместно здесь отметить, что аль-Газāлӣ, при всей его глубокой учености и скептическом ко всему отношении, оставался всю жизнь преданней-

[1] См. Steinschneider, Hebr. Übers., S. 296 и Anm.

[2] См. предисловие Гольдентāля к изд. тексту, стр. XIII—XIX; Enzykl. des Islam, l. c.; Brockelmann, Gesch. der Arab. Liter., I, SS. 421—426.

[3] См. Steinschneider, op. cit., S. 296; Encycl. Judaica, II, SS. 288—291.

[4] Steinschneider, ibid. Obermann. Der philosoph. und religiöse Subjectivismus Ghazālīs, S. 86 sq.

[5] См. его соч. — Leipzig, ed. Flugel, 1835, I, S. 180: لوذهبت كتب الاسلام وبقى الاحياء لاغنى عمّا ذهبت الخ ср. Obermann, op. cit., SS. 16, 17 und Anm. 1, 2; Гольденталь, цит. предисловие, стр. XI.

[6] Brockelmann, op. cit., S. 421; ср. Obermann, op. cit., S. 1, Anm. 2.

шим мусульманином, не допуская в религиозной практике никаких изменений и дополнений. Несмотря, однако, на это, он в теории полемизировал с главными столпами ислама: с теологами всех направлений, с законоведами, равно с философами всех направлений и школ.[1] Объяснения этих противоречий попытаемся найти в рассмотренном нами сочинении.

Прежде всего следует отметить, что в XI в. под благословением династии аббасидов процветание теологических школ и фикха достигло в восточном халифате своей кульминационной точки. Первые, в качестве апологетов Ислама, сфабрикованного в известных ритуалах и церемониях, старались рационализировать сформулированную ими религию, с подведением под все ее догматы «научного» базиса. Вторые приняли все меры к тому, чтобы теологизировать приватную и социально-государственную жизнь мусульман. Все государственные учреждения, скрывавшие в себе эксплоататорские цели, они, законоведы, старались покрывать и санкционировать авторитетом религиозных догматов.

Для этого арабские законоведы, известные под названием фукаха, пользовались всеми научными методами: экзегетикой, аналогией, дедукцией, педантно-искусственным изложением Корана и казуистическим остроумием.[2] Арабский фикх — это еврейский Талмуд на арабском языке. Искусственное сочетание фидеизма и рационализма, сцементированное фикхом, созданным в угоду аббасидских халифов как средство для одурманивания толпы, с перспективой ее материального и духовного порабощения, не замедлил вызвать протест со стороны другой группировки религиозно мыслящих, ориентировавшихся на эксплуатируемые массы. Протест этот сформулировался в новое учение, известное под названием «суфизм», в известной степени напоминающий движение ессеев в противовес фарисеям. Последний по своей концепции является антиподом фикха и теологических доктрин в их разновидности. Суфизм очищает религию от всех прослоек мирского характера, заполняя ее аскетизмом, отрицанием конкретного мира и заменой его сверхъестественным и субъективным. Суфии мыслили религию в отшельничестве, в отречении от всех духовных и физических наклонностей и вожделений, с концентрацией всех мыслей в боге и отказом ради этого даже от канонизированного ритуального богослужения и чтения Корана. Они опасались, что занятия последними могут помешать их «настроению» — ḥāl, которое располагает, по их

[1] См. Obermann, op. cit., SS. 90 sq. Brockelmann, op. cit., SS. 419—421; Enzykl. des Islam, II, SS. 154—157.

[2] См. Goldziher, Vorlesungen über den Islam, S. 48 sq. ср. Obermann, op. cit., S. 91.

мнению, к восприятию откровений, к пророчеству.[1] Словом, они редуцировали свою жизнь к особого рода служению богу, в контраст их вышеназванным противникам, которые внедрили религию во вседневную жизнь.

Аль-Газāлӣ жил и работал в период острой борьбы между этими полярными религиозными направлениями. Первоначальное воспитание его проходило в суфийских сферах, и он, повидимому, принимал участие в их практических упражнениях. Потом, в силу личных обстоятельств материально-экономического характера, он посвящал себя занятиям теологией, законоведением и философией, становясь постепенно официальным учителем этих дисциплин.[2] По мере освоения философско-спекулятивных наук им овладевал критический дух в отношении всех теологических и законоведческих доктрин и философских школ перипатетиков. Взаимные споры последних, разновидность направлений первых убедили его в том, что все они лишены объективной истины и, следовательно, не могут претендовать на общепризнанную компетенцию в трактуемых ими проблемах. Обуреваемый недугом скептицизма, он возвращается к суфизму, подходя на сей раз к нему cum grano salis. Как можно усмотреть в его трактовке и оценке этого учения в нашем сочинении,[3] аль-Газāлӣ при своем возвращении к суфизму, рассматривал его не как панацею, а, думается нам, лишь как asylum ignorantiae, в надежде найти в нем средство самоопьянения. Суфизм, напр., по его словам, лег в основание данного сочинения, и ему он выражает неоднократно свою симпатию, но это все лишь сравнительно с другими учениями.[4] Суфизм, как усматривается в этом же сочинении, не освободил его от одолевающих его сомнений. Напротив, он относится так же скептически и к рассматриваемому нами сочинению, построенному, по его словам, на основах суфизма. Он советует не искать в нем критерия для определения лжи и истины. Оно, это сочинение, говорит он, способно лишь пробудить человеческий ум от косности и направить его к мышлению и исследованию.[5] Кроме того, следует отметить, что суфизм аль-Газāлӣ является суфизмом sui generis. Он, напр., против абсолютного отрицания объективного мира с его естественными

[1] См. Obermann, op. cit., S. 92, Anm. 1.

[2] См. Гольденталь, цит. предисловие; ср. Obermann, op. cit., S. 93, Anm. 1; Brockelmann, op. cit., SS. 419—421; Enzyklop. des Islam, SS. 154—157.

[3] Ср. Obermann, op. cit., S. 97. Anm. 13, и Гольденталь, цит. предисл.

[4] См. наше соч., гл. 27 (печ. текст, стр. 168).

[5] См. ibid., гл. 27, стр. 175—176 (печ. текст): עקר זה הספר בנוי עלוה והיא הנהגת כת הצופים... ואם תאמר האם שאמרוהו היא אמת או לא: נשיבך דע שלא נכתב הספר הזה לבאר האמת והשקר... אבל הם הערות... יעוררו משנת העצלה וישירו למקומות הבקשה והחקירה וכו'

потребностями. Преодолевание аффектов, которое он считает главной основой религии,[1] должно иметь своей конечной целью умерение и урегулирование их так, чтобы овладеть ими и пользоваться в необходимых случаях и в известном масштабе. Ибо утилизированием их в известной доле и в соответственное время обусловлены, — подчеркивает он, — поддержание и продолжение существования индивидуума и коллектива.[2] Он также против суфиев, считающих практический метод — преодолевание аффектов — достаточной подготовкой к высшей градации, т. е. к богопознанию. Последнее, по его мнению, как общее правило, должно иметь своей предпосылкой обладание всеми теоретическими дисциплинами, из которых на первое место он выдвигает метафизические науки. И лишь активизация этико-практического и научно-теоретического методов ведет, по его концепции, к вечному блаженству,[3] т. е. к богопознанию, которое может реализоваться в известном, по рецепту суфизма, настроении ḥāl.[4] Таким образом, подлинная религиозность, ведущая к богопознанию, являющемуся, по его мнению, призванием человека, заключается именно в культивировании вышеуказанных методов. Что же касается культа суфизма, то аль-Газāлӣ рассматривает его не как религию, а как ее цель, следствие, pium desiderium, и только.[5]

Выше показано было, что аль-Газāлӣ не считал ни одной из философских теорий подлинной истиной. Любопытно здесь отметить еще его взгляд на этику вообще. Она также расценивается им лишь как условная истина. Он, напр., подчеркивает, что нравственное учение следует применять не ко всем одинаково, а индивидуально, и в зависимости от времени. То, что в отношении одного индивидуума, — поясняет он, — или на известном отрезке времени считается этичным, в отношении другого или в другое время признается аморальным.[6]

Что касается традиции, с ее обещаниями рая и угрозами ада, то автор допускает ее лишь как воспитательное средство для детей, в частности, и для толпы, вообще.[7] Весьма резко он квалифицирует антропоморфизмы,

1 См. ibid., гл. XXI, печ. текст, стр. 119: ...המדות הנפשות... ואלה הם באמת עקרי הדת...

2 См. ibid., гл. XI, стр. 73 (печ. текст): ...התאוהא... המשובחת... לקנות... תקון גופה אם בהשארות הנוף אן בהשארות מינו או תקון שניהם יחד וכ"ו.

3 См. гл. VIII, стр. 54—58 (печ. текст).

4 См. гл. VII, стр. 48—54, и гл. VIII, стр. 56.

5 Ср. Obermann, op. cit., SS. 99—100.

6 См. ibid., гл. XVI, стр. 93: שפזור הממון היא מדה טובה יאפשר שיהיה מדה רעה בקצת העתים ובחק קצת אנשים... Ср. гл. XXIII, стр. 140—141.

7 См. ibid., гл. XX, стр. 111—112: הדברים העוזרים על מעשה הטוב ... הפחות שבהם הוא תוהלת ונמול או פחד ועונש... והיא והיא מדרגת ההמון הפחותים. Ср. гл. XXIX, стр. 212.

фигурирующие в религиозных книгах, считая верующих в них ослами, а их авторов лжецами. Индифферентно он относится лишь к тем сочинениям, антропоморфизмы которых имеют аллегорический характер. Под последними он, повидимому, подразумевает Коран, но тем не менее он подчеркивает свое равнодушное отношение к тем, которые не верят в них, необычный взгляд по отношению к откровению.[1]

Религиозных доктрин во всех их разновидностях: мутазилитов, ашаритов, шафиитов и прочих он не отвергает целиком, т. е. он признает их условно, поскольку они необходимы для человека известного возраста и известных интеллектуальных способностей и развития. Но рядом с этим он показывает, что все эти учения созданы искусственно и имеют свое историческое начало во властолюбии и честолюбии. Демонстрируя, что в разных странах господствуют различные вероучения Ислама, он постулирует, что ни одно из них не должно претендовать на объективную истину.

Бог аль-Газāлӣ — негативный призрак: он ищет бога, будучи уверен априори в его существовании, но нигде не находит его, ни в мире, ни вне мира.[2] Он тем не менее советует поддерживать народное антропоморфическое богопонимание во всех грубых представлениях с обещаниями рая и ада.[3]

Такой его образ действия послужил основанием обвинения его в лицемерии. В действительности же никакого лицемерия не было со стороны аль-Газāлӣ, а рекомендовал он говорить с каждым по религиозным вопросам на его языке и сообразно его интеллектуальному развитию, исходя из соображений нравственно-воспитательного характера.[4]

В вопросах вероучения наш автор держался такого странного образа действия в виду того, что, как выше упомянуто было, по его концепции все теологические доктрины лишены подлинной истины, и поэтому ни одна из них не может быть преимущественно перед другой кому-нибудь навязана. Человек, говорит он, обладающий большим интеллектом, должен выработать религию себе соответственно своему богопониманию, о которой

[1] См. ibid., гл. XXXI, стр. 228—229: ואמונת כל זה הוא כסילות; ואם תאמר... וכבר האמינו רוב המין העם האמונת הזאת נשיבך... שאין הפרש בין ההמון... ובין החמורים... מה שכתבו מכזבים... ואלו אמרו זה דרך דמיון... סלחנו להם... ואולם הותרו אלו המלות בדת על צד הסוד... ויכחישם מי שיכחישם

[2] См. ibid., гл. XXXII, стр. 232: שהאל... אין עצמו במקום ושאינו בתוך העולם ולא הוץ ממנו...

[3] Loc. cit.: ראוי לאמת אצלו שהאל... יושב על בסא רם... חפץ... בעבדת ברואיו... וורבה נמולם... ויכניסם בגן עדן

[4] См. loc. cit. и краткое изложение наше (выше), гл. XXXII.

он может говорить лишь с себе равным, но отнюдь не руководствоваться учениями, навязанными ему извне.[1]

Ясно, таким образом, что аль-Газāлӣ не признавал канонической государственной религии; другими словами, у него как-будто были тенденции, направленные к отделению церкви от государства; религия, — твердит он, — интимное дело каждого индивидуума в отдельности. Его скептическое отношение к религиозным доктринам приводит его к отрицанию религиозной традиции вообще, традиции, рассказывающей о прошлом и будущем. Он рекомендует держаться того, что непосредственно видят глазами. Повидимому, нигилизм принудил его вследствие horror vacui искать убежища в эмпиризме, и он стал обнаруживать симпатию к естественным наукам.

Аль-Газāлӣ скептик, его скептицизм, как nervus probandi, проходит красной нитью все его сочинение, и он сознательно внушает его своей аудитории. Лишь скептицизм является, по его мнению, путеводителем к истине, ибо «кто не сомневается, тот не мыслит, а кто не мыслит, тот остается слепым».[2] По всей вероятности, этот афоризм дал повод некоторым ученым считать, что его историческое значение заключается в его скептицизме, благодаря которому он занимает место в истории арабской философии.[3]

* * *

Резюмируем: в нашем сочинении аль-Газāлӣ выступает как моралист-рационалист, с мистической закваской, и скептик. Его скептицизм распространялся на все без исключения гуманитарные науки, включая и религиозные, и законоведные и философские доктрины. Его критическое отношение к фикху и высказывание симпатии к суфизму, при наличии сомнения его в подлинной истинности последнего, дает основание предполагать, что в своем учении он ориентировался на социально-недовольные массы. Преимущество суфизма для аль-Газāлӣ заключалось в том, что первый неотъемлемый принцип его, суфизма, учения — безусловная нравственная чистота, с направленностью против теологии и фикха. К отрицанию последних, как объективных истин, автор подходит не слепо. Он доказывает,

[1] См. ibid., стр. 234: ואין עם אחד מהם אות או מופת שיאמת בו בעיניך אמונתו... חתרחק מהביט אל הדרכים ובקש האמת בדרך העיון...

[2] Ibid., стр. 235: ואלו לא יהיה בדברים האלת אלא מה שישאך לספק באמונתך... די לך בם טובה ותועלת... שהספיקות הם המניעות בעליהם לדרך האמת ומי שלא יספק לא יעיין ומי שלא יעיין לא יראה... נשאר בעורון וכ"ו.

[3] См. Steinschneider, op. cit., S. 297; ср. Munk, Mélange..., p. 382.

что исторически государство и религия ведут свое начало от человеческих аффектов и ничего общего с откровением, которое ими рекламируется, они не имеют. Призванием человека аль-Газāлӣ считает богопознание в широком смысле этого слова, т. е. миропонимание, обусловленное этической практикой в жизни и обладанием научно-теоретических знаний.

Выше было показано, что аль-Газāлӣ пользовался большим авторитетом среди мусульманских религиозных сфер. Здесь отметим еще, что особую популярность ему доставляли его научные труды, в которых он делает экскурсы по главным философским учениям, с целью опровержения их. Эти философские сочинения изучались большинством ученых, независимо от их солидарности во взглядах с автором, по двум соображениям. Одни черпали из них свои философские знания взамен непосредственного обращения к первоисточникам. Другие находили в них аргументы для скомпрометирования авторитета философии.[1] Большой популярностью он пользовался также среди еврейского ученого мира. Многие из его сочинений переводились на еврейский язык и комментировались.[2] Sturm und Drang XIII в. против философии вообще, когда сочинения Маймонида подверглись сожжению, не мог препятствовать тому, что рассматриваемое нами сочинение было именно тогда переведено и опубликовано на еврейском языке. Отметим, между прочим, что еврейский перевод его сочинения «Maķāṣid» под заглавием «Kawwanōt ha philōsōphīm» послужило оригиналом для русского перевода под названием «Логика Авиасафа», которая занимала важное место в литературе жидовствующих.[3] По вопросу о его влиянии в еврейской литературе по философии и этике некоторые ученые идут очень далеко. Они утверждают, что еврейские мыслители, начиная со второй половины XI в., именно — Ибн-Пакуда (XI в.), Иегуда га-Леви (XII в.), Ибн-Дауд, Маймонид (XII в.) и целый ряд других, были под влиянием аль-Газāлӣ.[4] Нет спора, что тот или другой еврейский мыслитель мог быть под его влиянием, но распространение этой возможности огульно на всех едва ли допустимо. Необходимо помнить, что аль-Газāлӣ сам, как это доказано, пользовался в главных своих сочинениях идеями греческой и арабской философии своих предшественников, и весьма возможно, что еврейские философы черпали из тех же источников, что и он.[5] Особенно следует это сказать относительно Маймонида, которого также

[1] См. Steinschneider, Herb. Übers., SS. 296—297.
[2] Сочин. «Maķāṣid» имеет 3 еврейских перевода.
[3] См. П. Коковцов, К вопросу о «Логике Авиасафа», СПб., 1912.
[4] См. Steinschneider, op. cit., SS. 297, 298 и Anm.; ср. Obermann, op. cit., S. X.
[5] См. Steinschneider, loc. cit.

включили в орбиту его влияния. Кроме того, Маймонид по своей концепции религиозной и философской является его антиподом. Необходимо также иметь в виду, что Маймонид часто упоминает по имени мыслителей, которых он цитирует, а имя аль-Газāлӣ нигде в его произведениях не упоминается им. Что касается Ибн-Пакуды, то при учете времени и места последнего такое допущение представляется бессмыслицей.[1] Во всяком случае вопрос о влиянии нашего автора на того или другого еврейского мыслителя ждет своего исследователя.

---

[1] См. П. К. Коковцов, Livre d'hommage à la mémoire du D-r P. Posnanski, Варшава, 1927, pp. 13—21. Ср. Encyclop. Judaica, II, pp. 289—290.

Хроника

ПАМЯТИ САМЮЭЛЯ ФЛЮРИ

◆ 24 января 1935 г. преждевременно скончался в Базеле на 61-м году жизни один из крупнейших знатоков мусульманского искусства и лучший палеограф Samuel Flury.

Тот, кто хоть немного знает его печатные труды и не знаком совершенно с его биографией, вряд ли может догадаться, как возникла и протекала его плодотворная научная работа. Некоторое разъяснение этого дает имеющаяся у нас его переписка, начавшаяся с 1926 г.[1]

S. Flury был общительным, скромным, нечестолюбивым и доброжелательным человеком; он охотно делился своими знаниями, писал о своих научных интересах и работах, не обходя и мелочей личной жизни. Некоторые письма имеют автобиографический характер, а многие большое научное значение.

Samuel Flury родился в Бразилии 20 апреля 1874 г. Предки его были швейцарские крестьяне — альпийские пастухи кантона Гризон (Grison). Четырех лет он лишился отца и был выращен матерью, женщиной с необычным характером, которую чрезвычайно любил, хотя и расходился впоследствии с ее религиозными воззрениями. Повидимому по ее желанию первоначально он готовился пять лет к богословской деятельности, но мысль о необходимости читать проповеди была для него кошмаром. Он поступил в одну из школ французской Швейцарии для изучения французского языка, давая одновременно уроки немецкого и музыки. В 1899 г. двадцатипятилетний Flury был приглашен в Каир на должность учителя школы и суффрагана немецкой колонии (14 VI 1933).

В Каире S. Flury пробыл три года. Как у его брата, художника-офортиста, работающего в Париже, у него была артистическая натура, которую унаследовало большинство детей Samuel'я Flury; она не могла не подчиниться исключительному обаянию Египта. В эти три года был заложен фундамент его исключительных знаний в области мусульманского искусства;[1] он внимательно изучал памятники и музеи и много рисовал. Особенно его захватила раннемусульманская архитектура, орнаментика тулунидов и фатимидов. По истечении этого срока друзья предлагали ему остаться в Каире еще на два года, чтобы написать работу о мечетях Каира. Из скромности, не доверяя своим силам и не имея средств, он отказался от предложения, вернулся в Европу и изучал здесь три года западноевропейскую филологию. После трехлетнего пребывания в Англии, S. Flury был приглашен профессором английского языка в Базельский лицей, каковым оставался до самой смерти (14 VI 1933 г.).

Тридцатилетний педагогический стаж не тяготил Flury; он был веселым, жизнерадостным человеком и любил молодежь. В Базеле он был в постоянных сношениях с профессорами Базельского университета, в последние годы, между прочим, с туркологом R. Tschudi. Вскоре после поселения тут в нем произошел большой внутренний перелом. По настоянию и с поддержкой его друга Max van Berchem'a, замечательного эпиграфиста, арабиста и историка, S. Flury не оставлял свои занятия арабским искусством и археологией, отдавая им немногие досуги и ка-

[1] Даты писем, откуда приведены сведения, отмечены в скобках; большая часть их на французском языке, одно на немецком и одно на английском.

[1] Между 1900—1902 гг. См. его работу «Die Ornamente der Hakim- und Azhar-Moschee. Materialien zur Geschichte der älteren Kunst des Islam. Heidelberg, 1912. Einleitung, S. 7.

никулярное время и превращаясь постепенно из любителя в глубокого специалиста.[1] Избранной специальности — арабской палеографии и орнаментике — он остался верен с самого начала научной работы до конца своей жизни. «Куфический почерк интересует меня прежде всего и палеография куфических надписей — та область, в которой я предпочтительно работаю», писал он (16 I 1926 г.); «. . . я занимаюсь исключительно историей мусульманского искусства и палеографией . . .» (1 IX 1932 г.). Здесь он нашел свое истинное призвание и стал счастливым человеком только с тех пор, как занялся арабским искусством. Тут он чувствовал, что это его область, и утратил всякие мысли о незначительности, которые его преследовали в первую половину жизни (14 VI 1933 г.). Совершенно сознательно S. Flury уклонялся от эпиграфических штудий, в чем его поддерживал и M. v. Berchem, советуя не терять время на арабскую филологию: «Вы всегда найдете ученых для перевода исторических текстов . . .» (1 IX 1932 г.). Работе S. Flury отдавался с увлечением: «Мне доставляет самое большое удовольствие нарисовать маленькую важную деталь, зная, что эти мелочи всегда сохранят свое значение. Взгляды на искусство меняются, но материалы, на которых основан взгляд, переживают (их)» (6 V 1932 г.).

Первая печатная работа Samuel'я Flury в 1912 г. «Die Ornamente der Hakim- und Azhar-Moschee»[2] показала его сразу как талантливого и оригинального ученого, нашедшего верные пути для понимания и освещения искусства Фатимидов. Серьезность его подхода и глубину изучения можно определить отчасти по затраченному им времени. Кроме зарисовок, сделанных в течение трехлетнего пребывания в Египте, он положил в основу своего труда собственные великолепные фотографии, ради которых он съездил специально в Каир на три месяца в 1911 г. (14 VI 1933 г.; 23 IX 1927 г.; 9 IV 1934 г.).[3]

Работа над орнаментикой раннефатимидских памятников с изданием 1912 г. отнюдь не прекратилась и особенно настойчиво Flury к ним возвращался в последние годы жизни. Известный исследователь мусульманской архитектуры K. A. C. Creswell, подготовляющий издание

[1] Op. cit., стр. 7, 6.
[2] Цитирована выше.
[3] Op. cit., 7.

каирских мечетей, просил его дать для третьего тома новый анализ мечетей ал-Азхар и ал-Хаким.[1] В 1927 г., после операции и поправки здоровья в Энгадине, S. Flury берет дополнительный отпуск и предпринимает третью поездку в Египет, так как со времени второй поездки 1911 г. была произведена реставрация мечети ал-Азхар и только по удалении лишних слоев штукатурки и с открытием некоторых частей здания можно получить точное представление о раннефатимидском искусстве. Он вновь исследует на месте все штукатурные надписи и находит много новых деталей (23 IX 1927 г.; 9 IV 1934 г.). В следующие годы во время вакаций он обрабатывает весь сосредоточенный им материал и делает новые рисунки, о чем пишет в середине зимы 1930 г., летом и осенью 1934 г. Осенью 1934 г. он едет в Париж специально для просмотра двух томов L. Hautecoeur и G. Wiet, посвященных мусульманской архитектуре Каира,[2] в надежде на новое освещение интересующих его памятников; главы, написанные G. Wiet, он одобряет, но в работе Hautecoeur совершенно разочаровывается и не находит никаких изменений сравнительно с предшествующими публикациями. В конце лета 1934 г. было уже приступлено к писанию второго исследования мечети ал-Азхар; после поездки в Париж S. Flury убеждается в необходимости опубликовать свой труд (24 I 1930 г.; 13 VIII 1934 г.; 24 X 1934 г.), но закончить его Flury, повидимому, не удалось.

Кроме орнаментики мечетей ал-Азхар и Хакима, в круг изучения S. Flury вошел целый ряд фатимидских памятников — штукатурные михрабы X—XI в. мечети Ибн Тулун, кыбла мечети Джуюши,[3] гипсовая орнаментика Дейр ас-Сурьяни.[4] Вопросы развития монументального куфического шрифта естественно заставляли его обращаться к ранним памятникам мусульманского Египта (тулунидский шрифт

[1] Название монументального труда в письмах не приведено. Повидимому, имеется в виду K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture, первый том которого вышел в Оксфорде в 1932 г. F⁰ maj.

[2] Les mosquées du Caire, t. I—II, Texte et album, 4⁰. Paris, 1932.

[3] Die Ornamente der Hakim- und Azhar-Moschee, стр. 15, 19, 33, 36 и др., табл. XI 2, XV, XVI 2, XVII. — Ein Stuckmihrab des IV (X) Jahrhunderts, JAK, II, 1925, SS. 106—110.

[4] Die Gipsornamente des Dēr es-Sūrjānī, D. Isl., t. VI, 1916, SS. 71—81 — Noch einmal Dēr es-Sūrjānī, Ibid., SS. 413—415.

и орнамент),[1] к аббасидским памятникам в Месопотамии[2] и Персии.[3] С расширением кругозора, глубина исследования не страдала; чем дальше обращался он к Востоку, тем тверже обосновывались его выводы о раннем и более прогрессивном развитии куфи в восточных частях мусульманского средневекового мира, где им обнаружен самый ранний монументальный несхи 451—492 (1059—1099)[4] и установлены любопытнейшие типы куфических надписей: плетеный куфи (coufique tressé, Flechtbandkufi) в Радкане 411 (1020—21 г.), последовательная серия в Амиде между 437—559 (1045—1163-64 гг.) и Майяфарикине около 1186 г.,[5] волнообразный куфи (coufique à rinceau ondulé, Wellenrankenkufi) на двери Махмуда в Газне,[6] найдены, наконец, западный и южный отпрыски шрифтов, созданных на востоке — надпись Кайруанской максуры мечети Сиди 'Окба (пол. XI в.)[7] и мечети Кисимкази в Занзибаре 500(1107 г.).[8]

Работы S. Flury дают первоклассный, тщательно подобранный материал, проанализированный по особому, им выработанному методу, с составлением алфавитных таблиц, расчленением надписи на шрифт, отдельные декоративные мотивы и проникновенный анализ орнамента. Эта система позволяет определить композиционные приемы, время недатированных памятников, взаимоотношения орнаментики в различных странах ислама, наметить роль двух важных центров в мусульманском искусстве.[1] S. Flury является создателем новой отрасли палеографии, метко названной Gaston'ом Migeon «paléographie ornementale»;[2] поставив ее на должную высоту, он далеко превзошел всех, кто работал в области мусульманской орнаментики, в частности E. Herzfeld'a, со взглядами которого он иногда капитально расходился,[3] и Georges Marçais, и открыл новую эру в изучении монументального куфи. Из нетронутой целины арабских фризов он мастерски выделил и удачно осветил период высшего расцвета куфического шрифта в XI в.

Значение работ Samuel'я Flury общепризнано. Без них глава о монументальной и декоративной скульптуре во втором издании «Manuel d'art musulman», написанная G. Migeon, была бы значительно бледнее.[4] Чрезвычайная важность с точки зрения методологии и общих выводов ценнейшего исследования надписей Амиды вызвала появление, вслед за оригинальной немецкой работой, французского перевода, но без дополнительной части.[5] Тем не менее, попытки привлечь S. Flury к университетскому преподаванию окончились неудачей. Около десяти лет назад ему предлагали экстраординатуру в Базельском университете, но он поспешил отказаться, боясь стать рабом науки без всякой личной свободы (14 VI 1933 г.). Оставаясь профессором английского языка и литературы,[6] он занял выдающееся место как ученый.

Чтобы достичь таких результатов, требовалась колоссальная выдержка, настойчивость и

1 Islamische Schriftbänder. Amida-Diarbekr, стр. 8—10, табл. I. — Bandeaux ornementés à inscriptions arabes. Amida-Diarbekr. Syria, t. I, 1920. — Die Gipsornamente des Dēr es-Sūrjānī, l. c.

2 Samarra und die Ornamentik der Moschee Ibn Tulun, D. Isl, t. IV, SS. 421—432.

3 Un monument des premiers siècles de l'Hégire en Perse, Syria, t. II, 1921, pp. 230—234, pl. XXXV—XL. — Le décor de la mosquée de Nâyin. Ibid., pp. 305—316, pl. XLI—LIII. La mosquée de Nâyin, Syria, t. X, 1930, pp. 43—58, pl. VIII—XIII.

4 Le décor épigraphique des monuments de Ghazna, Syria, t. VI, 1925, p. 74 sq., pl. XIII, I.

5 Islamische Schriftbänder. Amida-Diarbekr. XI. Jahrhundert. Anhang. Kairuan, Mayyâfâriqîn, Tirmidh, Basel — Paris, 1920. — Bandeaux ornementés à inscriptions arabes. Amida-Diarbekr, Syria, t. I, 1920, pp. 235—249, 318—328; t. II, 1921, pp. 54—62.

6 Das Schriftband an der Türe des Mahmud von Ghazna (998—1030). Der Islam, t. VIII, 1918, SS. 214—227.

7 Op. cit.

8 The Kufic Inscriptions of Kisimkazi Mosque. Zanzibar, 500 H. (A. D. 1107), JRAS, April 1922, pp. 257—264.

1 Islamische Schriftbänder. Amida-Diarbekr, 7 sq.

2 Manuel d'art musulman, 2⁰. Arts Plastiques et industriels, t. I, Paris 1927, pp. 225, 294.

3 Die Ornamente der Hakim- und Azhar-Moschee, SS. 7—8, 30. — La Mosquée de Nâyin, Syria, 1930, p. 57. — Die Gipsornamente des Dēr-es-Sūrjānī. D. Isl., t. VI, 1916, SS. 71—87. — Noch einmal Dēr es-Sūrjānī. Ibid., SS. 413—415. Cp. E. Herzfeld. Genesis der islamischen Kunst. D. Isl., t. I, 1910, 49 sq. — Zu Flurys Aufsatz, Bd. VI, 71 ff., D. Isl., t. VI, SS. 210—214.

4 Цитировано выше.

5 См. выше, стр. 171, лев. прим. 1. Кроме того, в 1920 г. напечатано пособие учебного характера по эпиграфике Amida-Diarbekr. Bâle 1920; рец. T. W. Arnold в «The Asiatic Review», 1920, Oct., pp. 726—727.

6 См. «Die Ornamente der Hakim- und Azhar-Moschee», Vorwort.

энергия, потому что некоторые местные условия не были благоприятны для его научной работы. Сильнее всего ощущалось отсутствие ориентальной библиотеки. В Базельском университете прекрасные отделы классических и точных наук, но Восток представлен крайне слабо (14 VI 1933 г; 15 XII 1933 г.) и S. Flury иногда жалел, что не состоит при музее, где приобретались бы все необходимые ему книги. Однако в Базеле, как и вообще в Швейцарии, это было невозможно, так как там нет музеев восточного искусства (6 V 1933 г.). Он постоянно вспоминал в письмах недостаток литературы, который смягчался получением новых работ от многочисленных друзей-ориенталистов, а изредка поездками в Париж, Лондон и Берлин, где можно было просмотреть все нужные издания.

Надо было также уметь найти время для научной работы. S. Flury был одарен разносторонне, он не мог существовать без музыки, особенно охотно играл Händel'я, занимался в 59 лет спортом, любил простую семейную жизнь и обрабатывал собственными силами большой сад. Это влечение он считал наследием предков — пастухов, которые, живя в горах, не ели ничего кроме хлеба, сыра и молока, а мясо и вино видали по большим праздникам (1 IX 1932 г.). Сад требовал много труда, не жалея сил, Flury посвящал обработке три недели весенних вакаций и часть летнего времени. 6 мая 1933 г. он пишет: «... я работал как негр, с той разницей, что я вносил энтузиазм ... Надо иметь противовес, чтобы уравновешивать современный специализм, который занимает исключительно голову ...» В такие периоды приходилось целиком отказываться от исследовательских занятий (25 VIII 1930 г., 14 VI 1933 г.; 26 I 1934 г.; 9 IV 1934 г.; 13 VIII 1934 г.), но в зимние каникулы он отдавал полную дань Востоку, рисуя иногда все время, днем и ночью (15 I 1934 г.). В более молодые годы в учебный сезон он занимался еще по вечерам, после ужина, но в последние годы жизни это стало невозможно из-за бессонницы (1 IX 1932 г.).

Огромная и разнообразная деятельность не исчерпывала энергии S. Flury. Исследовательской работой он все более увлекался и считал ее легче, чем светская жизнь, в которой иногда приходилось принимать участие, особенно при поездках в Англию (1 IX 1932 г.). Благодаря высокому научному престижу, обширным знакомствам и многочисленным друзьям в среде ориенталистов, искусствоведов и археологов, новые материалы стекались к S. Flury со всех сторон, чем дальше, тем в большем количестве. Так, например, 13 VIII 1934 г. он пишет о новой надписи, открытой A. Godard около Каспийского, моря, и фотографиях расписных фатимидских балок XI в. от Creswell'а из Иерусалима; 24 X 1934 г. и 20 I 1935 г. — о фотографиях памятника XI в. в древнем Bâlis на Евфрате, из раскопок G. Salles и de Lorey. Сам он, как показывают его работы, тоже умел разыскивать их и давать им должное освещение. Некоторые темы оставались постоянно в сфере его внимания, как тулунидская и фатимидская орнаментика; к другим он возвращался неоднократно (Islamische Schriftbänder, мечеть в Hāйййне).

Справедливо оценив важность эпиграфических фризов в архитектуре, Flury не прошел мимо роли эпиграфики в керамике и подошел к ней с совершенно новой точки зрения — анализа некоторых широко употребительных формул.[1]

Капитальный интерес представляла для него с давних пор среднеазиатская керамика с ее разнообразными эпиграфическими мотивами. Ею он занимался в Лондоне и Берлине, частью по оригиналам, частью по рисункам и фотографиям. В Victoria and Albert Museum он изучал коллекцию, купленную майором W. S. Myers и пожертвованную в музей в 1898 г. (20 II 1926 г.; 31 III 1926 г.; 29 VI 1926 г.; 11 II 1927 г.; 7 III 1927 г.), собрание акварелей, исполненных одним военнопленным с коллекции, находившейся в Ташкенте, и фотографии коллекции М. В. Столярова, предлагавшейся музею для покупки более 20 лет назад (14 XII 1931 г.). Некоторые эскизы орнаментов набросаны в письмах карандашом и представляют большой интерес. Судя по одному примеру, можно предположить, что речь шла о той коллекции М. В. Столярова или части ее, которая принадлежит Музею искусств Всеукраинской Академии Наук: в письме от 14 декабря 1931 г. S. Flury нарисовал узор фрагментированного блюда, которое его давно заинтересовало, а 12 июня 1932 г. он сообщает, что узнал его, но в более полном виде, на одной из таблиц

[1] Une formule épigraphique de la céramique archaïque de l'Islam, Syria, t. V, 1924, pp. 53—56.

полученного им киевского каталога.[1] Отмечена им мимоходом и среднеазиатская керамика в Каире (23 IX 1927 г.), но заниматься этим собранием по недостатку времени он не мог. Когда в 1933 г. проф. E. Kühnel неожиданно нашел в подвалах Völkerkunde Museum в Берлине забытые ящики со среднеазиатской керамикой, S. Flury в ближайшие каникулы поехал на 10 дней в Берлин и сделал много рисунков (24 X 1933 г.) Он штудировал также коранический куфи (24 X, 15 XII 1933 г.) и книжный орнамент.[2]

Среднеазиатская керамика особенно влекла S. Flury в СССР, куда он давно мечтал приехать и с напряжением ожидал конгресса иранского искусства (16 I 1933 г.; 6 V 1933 г.; 15 I 1934 г.; 9 IV 1934 г.; 13 VIII 1934 г.; 20 I 1935 г.), спрашивая о нем почти в каждом письме с начала 1933 г. вплоть до последнего. Интересовала его и наша страна с ее музейными богатствами, огромными переменами и строительством, о чем ему восторженно рассказывал давний ученик — коммунист, живший в Москве с 1918 г. (16 I 1933 г.). Готовясь к поездке, S. Flury даже принялся за изучение русской азбуки (13 VIII 1934 г.; 9 IV 1934 г.).

Из работ последнего периода можно назвать «Ornamental Epigraphy in Persian Pottery», которая должна выйти в «Survey of Persian Art» (12 VI 1932 г. она была уже переписана на машинке). Она причинила автору не мало волнений. S. Flury был принципиальным врагом слишком дорогих роскошных изданий, которые недоступны, как он писал, бедным ученым (9 IV 1934 г.) и предпочитал печатать свои исследования в специальных журналах, в виду их более широкого распространения и возможности получить оттиски. И действительно, большая часть его трудов появилась в «Der Islam», «Syria» и «Journal of the Royal Asiatic Society»; только немногие вышли отдельным изданием, но он щедро рассылал оттиски друзьям и коллегам, ради чего вел борьбу с издателями (14 XII 1931 г.; 9 IV 1934 г.). От участия в «Survey of Persian Art» он долго отказывался. Рисунки для «Ornamental Epigraphy in Persian Pottery» он принужден был сделать дважды, после пожара в кабинете: «Это была самая тяжелая работа, какую я когда-либо делал, нарисовать 24 рисунка во второй раз» (9 IV 1934 г.). Этим словам легко поверить, потому что рисунки S. Flury, помимо тонкости и изящества, отличаются изумительной точностью, которая достигалась упорным трудом при помощи измерений циркулем и изучения часто не безупречных фотографий в лупу.[1] Новую обработку орнаментики ал-Азхара он также собирался напечатать в «Syria», если «Oxford Press» не согласится дать 100 отдельных оттисков статьи, как было уговорено с K. A. C. Creswell'ом.

В самом конце 1933 г. S. Flury получил фотографии михраба Метхед-и Мисриян и увлекся его орнаментикой и шрифтом (31 XII 1933 г.). Две первых переданных ему фотографии были получены A. U. Pope от Б. П. Денике и сняты Б. Н. Кастальским более 20 лет назад. В короткий срок ему была доставлена еще фотография от K. A. Creswell'а из Каира, вывезенная Cohn Wiener'ом из Бухары; последнюю, от самого Б. Н. Кастальского, он получил через меня. S. Flury работал над ними не отрываясь (15 I 1934 г.; 26 I 1934 г., 9 V 1934 г.), но не желал по изложенным причинам издавать эти материалы в «Survey of Persian Art»; однако настойчивость его друга A. U. Pope преодолела, и 24 октября 1934 г. он пишет, что согласился передать ему эти рисунки, которые, вероятно, в скором времени будут опубликованы.

Непрерывная смена педагогической деятельности и напряженных научных занятий повлияла в последние годы на здоровье S. Flury, но он не думал сдаваться. Летом 1932 г. он впервые за 25 лет провел три недели в Англии, не работая, хотя осматривал шесть частных коллекций и вел серьезные беседы (1 IX 1932 г.). Талантливый «Lebenskünstler» все больше находил интереса в жизни. «La vie est riche» (жизнь богата), «La vie devient de plus en plus riche» (жизнь становится все богаче), писал он (24 X 1933 г.; 13 VIII 1934 г.); «... пожелайте мне, чтобы эта трудовая жизнь продлилась еще несколько лет...» (9 IV 1934 г.) Он успел изучить ковровую орна-

[1] Музей Мистецтва Всеукраїнської Академії Наук. Мистецтво країн ісляму. Каталог. Склал М. Вязьмитина. Киів. 1930, стр. 43, № 181, табл. VI, 162. Ср. В. Крачковская, Мусульманское искусство в собрании Ханенко, ЗКВ, т. II, стр. 7.

[2] Islamische Ornamente in einem griechischen Psalter von ca. 1090, D. Isl., t. VII, 1917, SS. 155—170.

[1] Islàmische Schriftbänder. Amida-Diarbekr, 8.

ментику, которую его опытный глаз читал как книгу, и зимой 1934 г. руководил осмотром выставки ковров XVI—XVIII вв., устроенной Школой искусств и ремесл в Базеле, принимал попутно участие в дебатах, развивавшихся между Лондоном, Берлином и Базелем относительно подлинности одного портрета Генриха VIII в замке Hovard, неожиданно приписанного Holbein'у (10 III 1934 г.).

Меланхолия посещала S. Flury только при мысли о потере близких и друзей, или когда болезни отрывали его от работы (10 III 1934 г.), но и тут проявлялась всегдашняя благожелательность к людям: в декабре 1933 г. в Арозе, не имея сил заниматься спортом после болезни, он наблюдал во время прогулок за лыжниками и развлекался писанием на снегу в опасных местах куфическим шрифтом XI в. пожеланий вроде العجلة من الشيطان (Торопливость от дьявола) (15 XII 1933 г.). В Арозу он направился и в январе 1935 г., когда затянувшаяся с ноября болезнь повернулась как-будто в сторону улучшения. В последнем письме 20 января 1935 г., за четыре дня до смерти, он с прежней бодростью говорит о предстоящей работе над датированными штукатурными украшениями из раскопок de Lorey на Евфрате, как только состояние здоровья позволит, но этому не суждено было осуществиться.

Работа S. Flury прервалась внезапно в расцвете его своеобразного дарования. Он мог дать еще очень много, но то, что он после себя оставил, полноценно, никем не превзойдено и навсегда вошло в историю науки, облегчив дорогу дальнейшим исследователям.

В. Крачковская

Ленинград, 23 марта 1935 г.

◆ По сообщению Oriente Moderno на заседании каирского Institut d'Egypte от 21 января 1935 г. президентом института был выбран Др. Mansur Fahmi, председатель факультета литературоведения Египетского университета и действительный член Арабской лингвистической академии. Fahmi является первым египтянином на посту руководителя Institut d'Egypte. Бывший президент H. Gauthier назначен вицепрезидентом, а в состав издательской комиссии входят: A. Lucos, A. Sammarco, G. Wiet и шейх Mustafa ʿabd ar-Raziq.

◆ В октябре 1934 г. в Лондоне состоялась выставка увеличенных художественных фотоснимков, иллюстрирующих жизнь бедуинов Сирийской пустыни. Снимки сделаны Carl R. Raswan'ом, который за последние 20 лет успел десять раз посетить пустыню, в частности побывать у племени Rwala, под защитой которого он находился. Raswan, как известно, является специалистом по арабскому коневодству, и издал книжку об арабских лошадях: Der Araber und sein Pferd (Stuttgart, 1930).

◆ По сообщению итальянского востоковедного журнала Oriente Moderno 14 (11. 1934), 522, в Батавии (о. Ява) выходит голландский перевод Корана.

◆ По сообщению каирской газеты al Ahrām, в Иерусалиме начал выходить журнал «Mażallat al-iqtiṣādījāt al-ʿarabīja», посвященный экономическим вопросам. Издается он «Обществом арабских изданий» под редакцией Fu'ad Saba и ʿādil Zabar.

◆ По сообщению «Oriente Moderno» с 1 февраля 1935 г. в Иерусалиме выходит экономический двухнедельник Le Journal Économique arabe, издаваемый Arab Publication C Ltd. под редакцией F. S. Saba, A. Zabr и T. Faraz. Первый выпуск, объемом в 40 стр., содержит статьи об укладе жизни в Палестине, о перспективах разведения апельсинов в Палестине, о египетской промышленности, о кооперативных обществах, об экономике султанатов Омана и Маската (в юго-восточной части Аравийского полуострова, у Персидского залива), об иракском анонимном обществе. Журнал предполагает разрабатывать вопросы теоретической экономики, изучать улучшенные методы агрикультуры и всякие вопросы, связанные с техническими и социальными нуждами феллахов, давать обзоры местных и иностранных рынков, текущих цен, тарифов, условий труда, кооперативных обществ и деятельности главнейших палестинских и иностранных финансовых учреждений.

◆ С 23 февраля 1935 г. в Каире издается новая ежедневная газета al-Masā' («Вечер»), являющаяся органом объединения профсоюзов (председатель: ʿabbās ʿalīm).

◆ **Mažallat -mažmaǥ al-luya al-ǥarabija al-malikī.** Al-Žuz' al-awwal. (Miṣr 1932) 400 p. В конце 1932 г. по инициативе министерства народного просвещения египетское правительство учредило в Каире Арабскую лингвистическую академию (Mažmaǥ al-luya al-ǥarabije). По мысли ее основателей она предназначалась выполнять по отношению к арабскому языку те же функции, что и Académie Française для французского языка. В первую очередь ей предстояло охранять чистоту (литературного) арабского языка и приспособлять его к потребностям современной жизни, вырабатывая специальные термины и технические выражения, необходимые для развития науки и техники и предупреждая всякие отклонения от правил классической грамматики. Насколько важен вопрос о терминологии, видно из того, что сейчас крайне затруднительно перевести на арабский язык современный научный труд, вследствие отсутствия подходящих слов. Перед лицом этой задачи отходят на второй план остальные пункты деятельности Академии, как то: составление большого исторического словаря арабского языка, организация научного изучения арабских диалектов в Египте и других арабских странах и т. п. На первой сессии Академии был заслушан ряд докладов, которые составили первый том «Журнала арабской лингвистической академии», заглавие которого выписано выше. Содержание его, целиком отражающее цели этого учреждения, следующее: Manṣīr Fahmī: Несколько слов по общим вопросам. Aʒmad al-ǥawāmirī: Изучение различных явлений. Manṣūr Fahmi: История академий. Al-Iskandari: Постановления Академии и возражения против них. Anastās al-Karmalī: Арабский язык и греческий. Тот же: Арабский язык и латинский. Muʒammad al-Xidr ʒusain: Метафора и перевод и следы их в жизни арабского языка. ǥali al-Zarīm: Синонимика. ǥabd-al-Qādir al-Ma Vribi: Идиоматические выражения и стилистика. ǥīsa Iskandar al-Maǥluf: Народный арабский диалект. al-Iskandarī: Упрощение арабской орфографии. ǥabd-Allāh: Этимология. Bišr Fāris. Несколько терминов. Выход первого тома был приурочен ко второй сессии Академии (февраль 1935 г.), на которой присутствовали крупные лингвисты-арабы, а также европейские ориенталисты Littmann, Fischer, Massignon, Nallino. Труды этой сессии войдут в следующий том Журнала Академии, который, как и первый выпуск, будет встречен с одобрением и радостью всеми заинтересованными в росте арабской культуры.

Я. Виленчик

15 марта 1935 г.

XVIII. Тураев, Б. А. Абиссинские хроники XIV—XVI вв. Перевод с эфиопского под редакцией И. Ю. Крачковского. 1936. 188 стр. Ц. 7 р.

XIX. Библиография печатных работ академика Игнатия Юлиановича Крачковского. (К 30-летию научной деятельности). 1936. 62 стр. Ц. 2 р.

XX. Думан, Л. И. Аграрная политика цинского (манджурского) правительства в Синьцзяне в конце XVIII века. 1936. 254 стр. + 1 табл.

XXI. Поппе, Н. Н. Бурят-монгольский фольклорный и диалектологический сборник. 1936. 166 стр. 4 нен. + 471 стр.

XXII. Санжеев, Г. Д. Монгольская повесть о хане Харангуй. 1937. 170 стр.

XXIII. Кильберг, Х. И. Восстание Араби-паши (антибританское национальное освободительное движение в Египте в 1879—1882 гг.).

XXIV. Труды первой сессии арабистов 14—17 июня 1935 г. 1937.

XXV. Баранников, А. П. Легенды о Кришне. Т. I. Лаллу джи лал Прем Сагар. Перевод с хинди. 1937. 4 нен. + 471 стр.

XXVI. Поппе, Н. Н. Халха-монгольский героический эпос. 1937.

III. БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА

Вып. 1. 1932. 143 стр. Ц. 6 р. 50 к.
Вып. 2—4. 1934. 201 стр. Ц. 8 р. 50 к.
Вып. 5—6. 1935. 144 стр. Ц. 7 р.
Вып. 7. 1935. 164 стр. Ц. 9 р.
Вып. 8—9. 1936. 194 стр. Ц. 12 р.
Вып. 10. (Печатается).

IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Гюзальян, Л. Т. и Дьяконов, М. М. Рукописи Шах-намэ в ленинградских собраниях (совместно с Государственным Эрмитажем). 1934. XXIV + 123 стр. Ц. 7 р.

Фердовси (совместно с Государственным Эрмитажем). 1934. 223 стр. Ц. 8 р.

Бертельс, Е. Э. Абу-л-касим Фирдоуси и его творчество. 1935. 72 стр. Ц. 1 р. 75 к.

Сергею Федоровичу Ольденбургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882—1932. Сборник статей. 1934. 642 стр.

Bibliotheca Friedlandiana. Каталог еврейских книг (изданных до 1892 г.) Библиотеки Института Востоковедения Академии Наук СССР. Вып. VIII. Составил И. Г. Бендер под ред. акад. П. К. Коковцева. 1936. 657—690 стр. + 4 нен. Ц. 2 р.

Bibliotheca Buddhica, XXIX. Prajñā pāramitā-ratna-guṇa-saṃcaya-gāthā. Sanscrit and tibetan text edited by E. Obermiller. 1937.

Bibliotheca Buddhica, XXX. Madhyānta-vibhanga. Discourse on discrimination between the Middle and Extremes ascribed to bodhisattva Maitreya and commented by Vasubandhu and Sthiramati. Translated from the Sanscrit by Th. Stcherbatsky. 106 + 058 стр. Ц. 8 р.

Биснек, А. Г. и Шафрановский, К. И. Библиография библиографии Средней Азии. Отдельный оттиск из «Библиографии Востока», № 8—9 (1935). 1936. 48 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Цена 9 руб.